



МАДАМ ОРАКУЛ

МАРГАРЕТ

ЭТВУД

САМЫЙ
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ
РОМАН
МАРГАРЕТ ЭТВУД.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР · ЧИТАЕТ ВСЬ МИР

Annotation

Мадам Оракул – кто она? Толстая рыжая девочка, которую хочет убить собственная мать, чьих надежд она якобы не оправдала? Автор готических любовных романов, прячущаяся под чужим именем? Мистический поэт, создательница целого культа своим единственным загадочным произведением? Или лидер террористической ячейки с неясными, но далекоидущими замыслами?

Собрать осколки множества личностей воедино, разрубить узел замужеств и любовных связей можно только одним способом...

В романе «Мадам Оракул» выдающаяся канадская писательница, лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд вновь раскрывает нам все тайны женской творческой души.

Маргарет Этвуд Мадам Оракул

Margaret Atwood
LADY ORACLE

Copyright © 1976 by O.W. Toad, Ltd.

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Спивак М., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Свою смерть я спланировала очень тщательно – в отличие от жизни, которая, бессмысленно извиваясь, текла от одного события к другому, вопреки всем моим жалким попыткам вогнать ее хоть в какое-то русло. Жизнь моя имела тенденцию расползаться, изгибаться, ветвиться и выпячиваться, подобно раме вычурного зеркала – так часто бывает, когда следуешь по пути наименьшего сопротивления. Поэтому хотелось, чтобы моя смерть для контраста оказалась простой, изящной, скромной и даже суровой, словно квакерская церковь или маленькое черное платье с единственной ниткой жемчуга – такие превозносили модные журналы, когда мне было пятнадцать. На этот раз – никаких труб, мегафонов, мишуры, недосказанности. Фокус в том, чтобы исчезнуть без следа, оставив за собой лишь тень мертвого тела, фантом, в реальности которого никто не сможет усомниться. Сначала я думала, что мне это удалось.

На следующий день после приезда в Терремото я сидела на балконе, куда вышла, собираясь принять солнечную ванну. Себе я представлялась этаким средиземноморской богиней, роскошной, золотисто-коричневой, сверкая белозубой улыбкой, она входит в аквамариновые воды – наконец она свободна, прошлое отринуто; но потом я вспомнила, что не взяла лосьон для загара (с максимальной защитой: без него я обгорю и покроюсь веснушками). Пришлось закрыть плечи и бедра куцыми хозяйскими полотенцами. Купальника у меня тоже не было; сойдут и трусы с лифчиком, подумала я, балкон не проглядывается с улицы.

Балконы мне всегда нравились. Казалось, стоит выбрать правильный и достаточно долго простоять на нем в длинном белом развевающемся платье – предпочтительно, чтобы луна была в первой четверти, – как обязательно что-нибудь случится: зазвучит музыка, внизу появится темная, загадочная фигура и начнет взбираться ко мне, а я со страхом и надеждой, трепеща всем телом, буду изящно лхнуть к чугунным витым перилам. Однако этот мой балкон был не из романтических. Прямоугольные перила, как в недорогих многоквартирных домах эпохи пятидесятых, щербатый бетонный пол. Под таким балконом не станешь, томясь, играть на лютне, сюда не полезешь ни с розой в зубах, ни со стилетом в рукаве. Да и до земли всего футов пять. Любой нормальный таинственный незнакомец, вероятнее всего, подойдет к дому по неровной тропинке, что ведет сверху, с улицы. Хруст шлака под ногами, ножи и розы разве что в мыслях.

Это, во всяком случае, больше подходит Артуру, подумала я, он скорее предпочтет хрустеть, нежели карабкаться. Если бы только все могло стать как раньше, до того, как он изменился... Я представила, как он едет сюда за мной по извилистой горной дороге в арендованном «фиате» с непременно дефектом; Артур расскажет, каким именно, позже, когда мы уже бросимся друг другу в объятия. Он припаркуется – как можно ближе к стене. И, прежде чем выйти, обязательно посмотрится в зеркало заднего вида, проверит выражение лица: он никогда не любил и сейчас опасался бы выглядеть дураком. Осторожно выберется из машины, запрет ее, чтобы не украли его скромный багаж, спрячет ключи во внутренний карман пиджака. Посмотрит налево, направо. Втянет голову в плечи, как делают при виде низкого дверного проема или летящего камня, потом неуверенно, будто крадучись, пройдет в ржавые ворота и зашагает по дорожке. Артура часто останавливают на границах. Это потому, что у него напряженный вид; но корректный, как у шпиона.

От этой картины – долговязый Артур нерешительно, с каменным лицом, в неудобных туфлях и застиранном хлопчатобумажном белье, идет меня спасать, не зная в точности, здесь я или нет, – к глазам подступили слезы. Я сомкнула веки: впереди, далеко-далеко, за невероятным голубым простором, который, по моим сведениям, является Атлантическим океаном, находились все те, кого я оставила по другую сторону. На пляже, разумеется; я достаточно насмотрелась Феллини. Ветер трепал им волосы, они улыбались, махали мне руками, улыбались и что-то кричали, но я, естественно, не могла разобрать слов. Артур стоял ближе всех; за ним, в длинном претенциозном плаще – Королевский Дикобраз, также известный как Чак Брюер; потом Сэм, Марлена и другие. Чуть в стороне, словно простыня на веревке, трепыхалась Леда Спротт, а за прибрежным кустом скрывался Фрезер Бьюкенен, мне был виден торчащий локоть с кожаной заплаткой на рукаве. Еще дальше – моя мать, в темно-синем костюме и белой шляпке, рядом, неотчетливо, отец и тетя Лу. Тетя единственная на меня не смотрела; она бодро шагала вдоль берега, глубоко дышала, восторгалась океаном и периодически останавливалась, чтобы вытряхнуть из туфель песок. Потом она их сняла и в чулках, лисьем боа и шляпе с перьями пошла дальше, к киоску с оранжадом и хот-догами, который завлекательным миражом маячил на горизонте.

Но и насчет остальных я ошибалась. Они улыбались и махали не мне, а друг другу. Может, спириты не правы? Может, на самом деле мертвые вовсе не интересуются живыми? Впрочем, многие из этих людей живы, это я числюсь мертвой; им следовало бы меня оплакивать, а они, кажется, веселы и довольны. Это нечестно. Сконцентрировав волю, я попробовала насрать на их берег нечто ужасное – гигантскую каменную голову, падающего коня, – но, увы, совершенно безрезультатно. В сущности, все это больше напоминало не фильм Феллини, а диснеевский мультик, который я видела в восемь лет, – про кита, который хотел петь в «Метрополитен Опера». Он подплыл к кораблю и стал исполнять арии на разные голоса, но моряки его загарпунили. Тогда голоса, каждый – в виде души своего цвета, по очереди покинули тело кита и, продолжая петь, поплыли к солнцу. Кажется, это называлось «Кит, который мечтал петь в опере». Я тогда рыдала как безумная.

После воспоминания о ките остановиться было уже невозможно. Но плакать стильно, как на обложках комиксов про «Настоящую любовь» – беззвучно, жемчужными слезами, которые выкатываются из распахнутых блестящих глаз и ползут по щекам, не оставляя следов и не размазывая туши, – я так и не научилась. Жаль; можно было бы рыдать на людях, а не в ваннах, не в темных залах кинотеатров, не в кустах и не в пустых спальнях, среди шуб, брошенных на кровать гостями. Тех, кто плачет тихо, жалеют. А я всхлипываю, хрюкаю, мои глаза приобретают цвет и форму вареных помидоров, из носа течет, я сжимаю кулаки, издаю стоны, на меня неловко, а потом и забавно смотреть. Я смешна. Горе мое настоящее, а проявляется как пародия – гипертрофированный муляж, неоновый цветок на бензоколонках «Белая роза», давно канувших в прошлое... Плакать красиво – одно из искусств, которыми мне так и не удалось овладеть, вроде умения приклеивать накладные ресницы. Мне нужна была гувернантка, меня следовало отправить в пансион и заставлять ходить с доской, привязанной к спине, учить писать акварелью и владеть собой.

Прошлое изменить нельзя, говорила тетя Лу. Да, но я хотела; это единственное, чего я хотела по-настоящему. Мое тело сотрясилось в судорогах ностальгии. Небо синело, солнце сияло, слева, как вода, искрились осколки стекла; на перилах маленькая зеленая ящерка с переливчато-голубыми глазами грела свою холодную кровь; из долины слышался звон колокольчиков, спокойное «му-у», убаюкивающий рокот чужеземной речи. Я была в

безопасности, могла начать жить заново, но вместо этого сидела на балконе над осколками кухонного стекла, которое разбили еще до меня, в кресле из алюминиевых трубок и желтого пластика и издавала некрасивые звуки.

Это кресло мистера Витрони, моего хозяина. Он обожает разноцветные фломастеры: красные, розовые, фиолетовые, оранжевые – пристрастие, которое я вполне разделяю. С помощью своих фломастеров мистер Витрони демонстрирует землякам умение писать. Я же своими раньше составляла списки и любовные послания, а иногда и то и другое вместе: «*Ушла за кофе, тысяча поцелуев*». Походы в магазин остались в прошлом – эта мысль окончательно меня расстроила... Больше никаких грейпфрутов, разрезанных на две части, с красной пупочкой мараскиновой вишни, которую Артур привычным жестом откатывал на край тарелки; никакой овсяной каши, которую я ненавидела, а Артур боготворил, – комковатой, подгоревшей, из-за того, что я не слушала его советов и не пользовалась пароваркой... Годы завтраков, неумело приготовленных, неудобных, невозвратных... Годы убитых завтраков, зачем же я это сделала?

До меня дошло, что на всей земле я не могла выбрать места хуже. Надо было ехать туда, где все свежо и ново, где я никогда не бывала раньше. Меня же угораздило вернуться в тот же город и даже в тот же дом, где мы провели прошлое лето. Здесь все по-старому: двухконфорочная плита и газовый баллон, *bombola*, где всегда не вовремя заканчивается газ, и стол с белыми кругами от горячих чашек на полировке – следами моей прошлогодней неосторожности. Здесь та же кровать и тот же матрас, пошедший морщинами от старости и возни многочисленных постояльцев. Тут меня будет преследовать призрак Артура; я уже слышу, как он полощет горло в ванной, и хруст стекла под креслом – он отодвигается назад, чтобы взять чашку с кофе, которую я передаю через кухонное окно. Стоит открыть глаза и повернуть голову, и я увижу его, с газетой у самого лица, карманным словарем на одном колене и (скорее всего) указательным пальцем левой руки в ухе – бессознательное действие, привычка, существование которой он всегда отрицал.

Я сама во всем виновата, это моя собственная непроходимая тупость. Почему не поехала в Тунис, или на Канары, или даже в Майами-Бич на туристическом автобусе «Грейхаунд», с проживанием в отеле, включенным в стоимость? Не хватило силы воли; хотелось чего-то рутинного, обыденного. Место без рукопожатий, знакомых ориентиров, без *прошлого*... нет, это было бы слишком похоже на смерть.

Я давно рыдала навзрыд, уткнувшись носом в одно из хозяйских полотенец и набросив на голову другое. Старинная привычка: плакать под подушкой, чтобы никто не узнал. Но даже под полотенцем я вдруг услышала странное цоканье, на которое, видимо, не сразу обратила внимание. Я прислушалась. Цоканье прекратилось. Я приподняла полотенце и на уровне собственных лодыжек, футах в трех, не больше, увидела голову старика в плетеной соломенной шляпе. Белесые глаза смотрели то ли с тревогой, то ли с неодобрением; впалый рот был открыт, криво, с одного боку. Видимо, его привлек мой плач. Наверное, думает, что мне дурно, раз я сижу под полотенцем в одном белье. Или что я пьяная.

Я влажно улыбнулась, как бы заверяя, что все в порядке, и, прижав к себе полотенца, стала вставать с кресла, – но слишком поздно вспомнила, что у него есть скверное обыкновение складываться от резких движений. Часть полотенец упала раньше, чем я скрылась за балконной дверью.

Я узнала старика. Это он раз или два в неделю приходил ухаживать за артишоками, что росли на участке перед домом, на твердой, сухой земле. Срезал сорняки ржавым секатором и

отрывал созревшие кожистые головки. В отличие от других жителей города он никогда ничего не говорил и не отвечал на приветствия. При виде его у меня по спине пробежали мурашки. Я надела платье (подальше от широкого окна, за дверь) и прошла в ванную, где промокнула лицо влажным полотенцем и высморкалась в царапучую туалетную бумагу мистера Витрони; потом на кухню, налить чашку чая.

Впервые после приезда мне стало страшно. Возвращение сюда не только печально, но и опасно. Бессмысленно считать себя невидимкой, если таковой не являешься. А главная неприятность в следующем: если я узнала старика, то не исключено, что он мог узнать меня.

Я села с чашкой за стол. Чай успокаивал и помогал думать, хотя качеством не отличался: он был в пакетиках и пах пластырем. Я купила его в центральном бакалейном магазине вместе с коробкой «Пик Фрин», английского бисквитного печенья. Магазин основательно им запасся в ожидании наплыва туристов-англичан, которые пока что-то не приезжали. Я прочла на коробке: «Поставщик двора Ее Королевского Величества» и почувствовала, как укрепляется мой боевой дух. Королева не стала бы шмыгать носом: уныние вульгарно. *Возьми себя в руки*, – сказал суровый царственный голос. Я прямее села в кресле и задумалась над тем, что делать дальше.

Разумеется, я приняла все меры предосторожности. Назвалась своим вторым именем, а когда ходила смотреть, свободна ли квартира мистера Витрони, надела черные очки и повязала голову шарфом, приобретенным в аэропорту Торонто: розовые конные полицейские, гарцующие под музыку на фоне фиолетовых Скалистых гор, «сделано в Японии». Спрятала фигуру под мешковатым платьем, из тех, что купила на улице в Риме, – розовым, с нежно-голубыми набивными цветочками. Лучше бы, конечно, большие красные розы или оранжевые георгины, а то я как настоящий рулон обоев. Но мне обязательно нужно было что-то неприметное. Мистер Витрони меня не вспомнил, я уверена. Но вот старик застиг меня врасплох, без маскировки и, что еще хуже – с непокрытой головой. А в этой части страны рыжие волосы до пояса сильно бросаются в глаза.

Печенье было как цемент и на вкус отдавало деревяшкой. Я макала его в чай, разжевывала, механически работая челюстями, и не заметила, как съела все без остатка. Плохой знак, надо будет последить за собой.

И надо что-то делать с волосами. Они слишком заметны, из-за цвета и длины они стали моей визитной карточкой. О них неизменно упоминается в газетных заметках, как хвалебных, так и ругательных. В сущности, им отводится едва ли не главное место: видимо, для женщины волосы важнее таланта либо его отсутствия. *«Джоан Фостер, автор знаменитой «Мадам Оракул», словно сошедшая с роскошного портрета кисти Россетти, лучась энергией, буквально заворожила аудиторию своей неземной...»* («Торонто Стар»). *«Создательница известной поэмы в прозе Джоан Фостер, в зеленом платье и с распущенными рыжими волосами, была величественна, как Юнона; к сожалению, расслышать ее голос практически не представлялось возможным...»* («Глоуб энд Мэйл»). Выследить мои волосы даже проще, чем меня саму. Придется остричь их, а потом покраситься, хоть я и не уверена, что здесь это возможно. В таком маленьком городке? Вряд ли. Наверное, придется снова ехать в Рим. Вот ведь не догадалась купить парик, подумала я; какое упущение.

Я вернулась в ванную и выудила из косметички на «молнии» маникюрные ножницы. Слишком маленькие, конечно, но выбор небогат: либо они, либо один из тупых резачков мистера Витрони. На то, чтобы прядь за прядью отпилить себе волосы, у меня ушло немало времени. Потом я попыталась придать тому, что осталось, приемлемую форму, но волосы, укорачиваясь, никак не желали становиться ровнее. В конце концов я обкорнала себя так, что сделалась похожа на узницу концлагеря. Лицо, правда, изменилось, и довольно сильно: пожалуй, меня можно принять за секретаршу в отпуске.

Волосы грудями, кольцами лежали в раковине. Жалко выбрасывать; может, спрятать в

комоде? Но только если их найдут, как я это объясню? Они же сразу начнут искать руки, ноги, прочие части тела. Нет, от волос надо избавиться. Но как? Спустить в унитаз? Их слишком много, а канализация и так уже ведет себя странно, отрывает болотный газ и комки разлезавшейся туалетной бумаги.

Я отнесла рыжую массу на кухню, зажгла газ. И приступила к жертвоприношению. Волосы, прядь за прядью, извиваясь, как острицы, и шипя, как бикфордов шнур, съезживались, чернели, плавилась и наконец сгорали. Помещение наполнилось едким запахом паленой индейки.

По моим щекам текли потоки соленой влаги; я ведь сентименталистка, самая что ни на есть. А дело вот в чем: Артур так любил расчесывать мои волосы. От этого воспоминания я буквально утонула в слезах. Правда, он так и не научился не дергать щеткой, и мне всегда бывало страшно больно. Но поздно, все поздно... Я никогда не умела чувствовать то, что нужно: злость, когда положено злиться, горе, когда следует плакать; вечно ничему не соответствовала.

Наполовину разделавшись с волосами, я вдруг услышала хруст шлака, шаги. Сердце мучительно сжалось, я застыла: дорожка ведет к дому, никуда больше, в доме, не считая меня, никого нет, другие две квартиры пусты. Как Артуру удалось так быстро меня найти? Выходит, я была права в своих подозрениях? Или это не Артур, а кто-то из остальных... Страх, который я гнала от себя всю последнюю неделю, нахлынув серой ледяной волной, вынес ко мне все то, чего я так боялась: дохлых зверей, зловещее молчание телефонной трубки, записки от убийцы, нарезанные из «Желтых страниц», револьвер, гнев... Перед глазами всплывали и тут же рассыпались лица, я не знала, кого мне ждать: что им нужно? Вопрос, на который я никогда не могла ответить. Хотелось завопить, побежать в ванную, там, высоко, есть прямоугольное окошко, может, я сумею в него протиснуться и взбегу на холм, и уеду на своей машине. Еще один внезапный побег. Я попыталась вспомнить, куда положила ключи.

В дверь постучали, солидно, уверенно. Раздался голос:

– Алло? Вы внутри?

Я вздохнула свободно. Это всего лишь мистер Витрони, синьор Витрони, улыбчивый Рено Витрони, который обходит свои владения. Собственно, этот дом, насколько мне известно, – его единственное владение; тем не менее синьора Витрони считают одним из самых богатых людей в городе. Вдруг ему захочется осмотреть кухню, что он подумает о моем жертвоприношении? Я выключила газ и сунула волосы в бумажный пакет, куда складывала мусор.

– Иду, – крикнула я, – одну минутку. – Не хотелось, чтобы он входил: постель не убрана, повсюду – на стульях, на полу валяется моя одежда и нижнее белье, на столе и в раковине стоит грязная посуда. Я, будто капюшон, накинула на голову полотенце и по дороге к двери схватила со стола солнечные очки. – Я мыла голову, – сказала я, открывая дверь.

Темные очки озадачили его, но не слишком. У иностранок, гласил весь опыт его жизни, весьма причудливые косметические ритуалы. Мистер Витрони засиял и протянул руку. Я тоже протянула руку, он поднял ее, будто собираясь поцеловать, но вместо этого крепко пожал.

– Я чрезвычайно приятный вас видеть, – произнес он, кланяясь и прищелкивая каблуками на военный манер. На груди, как медали, красовались колпачки разноцветных фломастеров. Состояние мистер Витрони заработал на войне, и никто не задавался

вопросом, как именно, – дело прошлое. Там же, на войне, он немного выучил английский и обрывки кое-каких других языков. Но с чего вдруг уважаемый господин средних лет, обладатель правильной бочкообразной жены и многочисленных внучат, заявился ко мне вечером? Ведь это явно неподходящее время посещать молодых иностранок? Он держал что-то под мышкой и заглянул поверх моего плеча в комнату, словно собираясь войти.

– Возможно, вы варите ваша еда? – осведомился мистер Витрони, почувствовав запах паленых волос. Я прямо-таки услышала его мысли: «Господи, чем же они питаются, эти люди!» – Желаю, я вас не тревожил?

– Нет-нет, что вы, – заверила я и плотнее загородила собой дверной проем.

– Все с вами в порядок? Свет светит опять?

– Да, да, – чаще, чем нужно, закивала я. Когда я въехала, электричество не работало, поскольку предыдущий жилец не оплатил счета. Но мистер Витрони нажал на соответствующие рычаги.

– Тут много солнце, нет?

– Очень много. – Я старалась не проявлять нетерпения. Он стоял слишком близко.

– Хорошо. – Хозяин явно решил перейти к делу. – Я здесь приносил что-то для вас. Чтобы вам чувствовать больше... – Он повел свободной рукой, ладонью вверх, широким, гостеприимным жестом, – ...чтобы вам было больше дома.

Господи, как неудобно, подумала я, он принес подарок, как бы на новоселье. Это здешний обычай? Что я должна ответить?

– Ужасно мило с вашей стороны, – залепетала я, – но...

Мистер Витрони взмахнул рукой: мол, не стоит благодарности. Он вытащил из-под руки прямоугольный сверток, положил его на пластиковый стул и стал развязывать веревки, а дойдя до последнего узла, остановился и выждал паузу, словно фокусник. Затем коричневая упаковочная бумага разошлась в стороны, и взгляду открылись картины, пять или шесть, в золоченых гипсовых рамах, написанные – о боже! – на черном бархате. Мистер Витрони поднимал их одну за другой и показывал мне. Там изображались исторические достопримечательности Рима, каждая своим цветом: Колизей был болезненно-красный, Пантеон – лиловый, арка Константина – дымчато-желтая, Св. Петр – розовый, как пирожное. Я с видом третейского судьи, нахмурившись, глядела на картины.

– Нравится? – требовательно спросил мистер Витрони. Я – иностранка, такого рода творчество обязано мне нравиться, он принес это в подарок, желая мне угодить... Чтобы не обидеть хозяина, мне, естественно, пришлось изобразить умиление.

– Очень мило, – сказала я, имея в виду не сами произведения искусства, а знак внимания.

– О'кей, как у вас говорят, – обрадовался мистер Витрони. – Сын моего брата, он имеет гений.

Мы молча воззрились на картины, к тому времени успевшие выстроиться на подоконнике. В золотых лучах заходящего солнца они мерцали, подобно дорожным знакам на автостраде, и постепенно стали обретать, а точнее, излучать некую жуткую энергию – как закрытые двери печей или гробниц.

С точки зрения мистера Витрони, события развивались недостаточно быстро.

– Кто вам нравится? – спросил он. – Этот?

Как можно выбрать, не понимая подтекста? Языковой барьер – лишь часть проблемы, есть и другой язык: того, что принято или не принято делать. Приняв в дар картину, должна

ли я буду стать его любовницей? Имеет ли выбор конкретной картины какое-то особое значение? Может, это проверка?

– Ну... – протянула я робко, указывая на неоновый Колизей.

– Двести пятьдесят тысяч лир, – тут же объявил мистер Витрони. Мне сразу полегчало: в сделках с участием наличности нет ничего загадочного, это я умею. И конечно, картины пишет вовсе не племянник; мистер Витрони, должно быть, покупает их в Риме, на улице, а потом перепродает с выгодой для себя.

– Хорошо, – сказала я, хотя совсем не могла себе позволить таких трат. Но у меня никогда не получалось торговаться, и потом – я боялась его оскорбить. Не хватало только остаться без электричества. Я пошла за кошельком.

Сложив и спрятав купюры в карман, мистер Витрони начал собирать картины.

– Возьмете два, может быть? Посылать домой, к ваша семья?

– Нет, спасибо, – отказалась я. – Эта очень красивая.

– Ваш муж скоро едет к нам тоже?

Я улыбнулась и неопределенно кивнула. Именно такое впечатление я хотела создать, когда снимала квартиру. Чтобы в городе знали, что у меня есть муж, во избежание лишних неприятностей.

– Он будет любить эту картину, – с непоколебимой уверенностью сказал мистер Витрони.

Тут я призадумалась. Означает ли это, что он меня все-таки узнал, невзирая на очки, полотенце и другое имя? Он довольно богат; ему незачем расхаживать по городу, перепродавая дешевые туристские сувениры. Очевидно, все это – лишь предлог. Но зачем? Мне показалось, что наш разговор заключал в себе намного больше, чем я в состоянии понять. Впрочем, ничего удивительного, Артур всегда называл меня тупицей.

Когда мистер Витрони отошел от балкона на безопасное расстояние, я внесла картину в комнату и стала искать, куда ее повесить. Нужно очень правильное место: многие годы мне из-за матери приходилось расставлять главные предметы в своей комнате в надлежащем порядке, а картина, хочу я того или нет, обязательно станет главным предметом. Она такая красная. В конце концов я повесила ее на гвоздь слева от двери – так я смогу сидеть к ней спиной. Моя привычка переставлять мебель, неожиданно, без предупреждения, ужасно раздражала Артура. Он не понимал, зачем я это делаю, говорил, что нельзя уделять столько внимания обстановке.

Мистер Витрони ошибся: картина бы Артуру не понравилась. Она не в его вкусе; зато, по его искреннему убеждению, – в моем. Очень подходяще, сказал бы Артур, кроваво-красный Колизей на вульгарном черном бархате, да еще в золотой раме. Шум, гам, беснующаяся публика, смерть на песке, рык диких зверей, злобный рев, вопли, стенания мучеников, которых скоро принесут в жертву; и, сверх всего, чувства – страх, гнев, смех, слезы, словом, зрелище, хлеб толпы. Подозреваю, что именно так он и представлял себе мой внутренний мир, хотя прямо никогда этого не говорил. Но где же, среди всего безумия, сам Артур? В первом ряду, в центре; сидит неподвижно, едва улыбаясь, ему нелегко угодить; лишь время от времени он делает чуть заметный жест, губя либо милуя: большой палец вниз или вверх. Теперь будешь сам устраивать себе представления, подумала я, питаться собственными эмоциями. Я свое отыграла; кровь стала слишком реальна.

Я успела страшно разозлиться на Артура, а швыряться было нечем, кроме тарелок мистера Витрони, и более того, не в кого – кроме опять-таки мистера Витрони, который

сейчас, без сомнения, уже взбирался на гору, негромко пыхтя: у него короткие ноги и толстый живот. Что бы он подумал, если б я помчалась за ним, кидаясь тарелками? Вызвал бы полицию, меня бы арестовали, обыскали квартиру, нашли бумажный пакет с рыжими волосами, чемодан...

Я быстро вернулась к практической стороне дела. Чемодан стоял под большим псевдобарочным комодом с отслаивающейся фанерой и инкрустацией в виде морских раковин. Я вытащила его, открыла крышку; внутри, в зеленом пластиковом пакете, была моя мокрая одежда. Она пахла моей смертью: озером Онтарио, бензиновыми пятнами, дохлыми чайками, крошечными серебристыми рыбками, гниющими на берегу. Джинсы и темно-синяя футболка, мой похоронный костюм, мое бывшее «я» – мокрое, поверженное, покинутое множеством разноцветных душ. В Терремото такую одежду – даже не вещественное доказательство – носить все равно нельзя. Я хотела выбросить ее в помойку, но по опыту прошлой поездки знала, что в баках, особенно тех, которыми пользуются иностранцы, роются дети. На оживленной дороге в Терремото также не нашлось места, куда можно было бы выкинуть мои вещи. Следовало сделать это в аэропорту Торонто или Рима; впрочем, одежда, брошенная в аэропорту, всегда вызывает подозрения.

Несмотря на сумерки, во дворе было еще достаточно светло. Я решила закопать свою одежду и, скомкав хрусткий пакет, сунула его под мышку. Это мои личные вещи, я не делаю ничего плохого, и все же мне казалось, будто я избавляюсь от трупа, существа, погибшего от моей руки. Спотыкаясь – кожаные подошвы босоножек сильно скользили на шлаке, – я стала спускаться по дорожке мимо дома и наконец оказалась внизу, среди артишоков. Земля как камень, лопаты у меня нет; выкопать яму нечего и мечтать. Да и старик заметит мое вторжение в свой огород.

Я обследовала фундамент дома. К счастью, он был положен довольно небрежно, цемент в нескольких местах успел растрескаться. Я нашла шатающийся кусок и, поддев плоским камнем, вынула его. Под фундаментом оказалась простая земля: дом был встроен в гору. Я вырыла небольшую нору, свернула пакет как можно компактнее и сунула его внутрь, после чего снова закрыла дыру куском цемента. Пройдет много сотен лет, кто-нибудь выкопает мои джинсы и футболку и решит, что здесь исполняли какой-то забытый обряд, или убили ребенка, или тайно что-то захоронили... Эта мысль меня порадовала. Я разровняла землю ногой, чтобы ничего не было заметно.

С облегчением вздохнув, я влезла назад через балкон. Осталось покраситься – и с особыми приметам будет покончено. Я начну жить заново абсолютно другим человеком.

Я прошла на кухню и сожгла оставшиеся волосы. Потом достала бутылку «Чинзано», спрятанную в шкафу, за посудой. Ни к чему, чтобы стало известно о моем тайном алкоголизме, впрочем, я им и не страдаю, просто здесь совершенно некуда пойти. Тут женщинам не полагается сидеть в баре и пить в одиночку. Я налила небольшой стаканчик и провозгласила тост.

– За жизнь, – сказала я. И сразу встревожилась – что это я разговариваю сама с собой? Вот еще не хватало.

По купленному вчера шпинату ползали муравьи. Они жили во внешней стене дома и замечали только шпинат и сырое мясо, а все остальное решительно игнорировали – при условии, что оставишь им блюдечко с сахарной водой. Я так и поступила, они нашли подношение и теперь ползали туда-сюда между блюдцем и своим гнездом, тощие по дороге туда и толстые по пути обратно. Миниатюрные цистерны. Они кольцом облепили край

блюдца, а некоторые зашли слишком глубоко и утонули.

Я налила еще «Чинзано», затем обмакнула палец в блюдечко и сладкой водой вывела на подоконнике свои инициалы. И стала ждать, когда проступит мое имя, написанное муравьями: живая легенда.

Утром, когда я проснулась, эйфория прошла. Похмелья как такового не ощущалось, но резко вскакивать с постели было явно ни к чему. Бутылка из-под «Чинзано» стояла на столе, пустая; это показалось мне дурным предзнаменованием – я не помнила, как ее допила. Артур мне всегда говорил: нельзя столько пить. Сам он к алкоголю был в общем-то равнодушен, но имел привычку время от времени приносить домой бутылку и оставлять на видном месте. Думаю, я для него была чем-то вроде школьного химического набора: втайне он любил со мной экспериментировать и был уверен в потрясающем результате. Хотя никогда не знал, что именно получится и чего, собственно, ему хочется; если бы я это знала, все было бы проще.

Моросил дождик, а у меня не было плаща. Следовало бы купить его в Риме, но от здешнего климата в памяти остались неизбывное солнечное сияние и теплые ночи. Я не привезла ни плаща, ни зонтика, ни многих других вещей; не хотела оставлять слишком очевидных следов своего отъезда. И теперь начинала скучать по своему гардеробу: по красно-золотому сари, вышитому восточному халату, бархатному абрикосовому платью с бахромчатым подолом. Конечно, тут их все равно нельзя носить... Тем не менее я лежала и тосковала: ах, мой веер из павлиньих перьев всего лишь без одного пера, ах, вечерняя сумочка с дымчато-синими бусинами, настоящий антиквариат...

Артур состоял с моей одеждой в очень странных отношениях. Он не любил, когда я тратила на нее деньги, считал, что нам это не по средствам, поэтому первое время говорил, что платья не сочетаются с моими волосами или что я в них слишком толстая. Позднее, когда он в порядке самобичевания примкнул к движению за освобождение женщин, то стал доказывать, что подобная одежда вообще не нужна: покупая ее, я играю на руку эксплуататорам. Но, думаю, истинная причина крылась глубже; мои наряды он воспринимал как некий афронт, личное оскорбление. И в то же время восхищался ими – как и многим другим во мне, что он осуждал. Подозреваю, эти вещи попросту его возбуждали и оттого заставляли злиться на самого себя.

Кончилось тем, что я стала стесняться ходить куда бы то ни было в своих длинных платьях. Вместо этого я закрывала дверь в спальню, одевалась в шелк или бархат, доставала все свои золотые украшения: длинные цепочки, висячие серьги, браслеты. Потом душилась, снимала туфли и танцевала перед зеркалом, вращаясь в медленном вальсе с невидимым партнером: высоким мужчиной с горячими глазами, в вечернем костюме и оперном плаще. Он кружил меня (изредка натыкаясь на туалетный столик или край кровати) и шептал: «Позвольте увезти вас далеко-далеко. Мы с вами будем танцевать вечно». Искушение, несмотря на всю его нереальность, было огромно...

С Артуром мы никогда не танцевали, даже наедине. Он говорил, что не умеет.

Я лежала в постели и глядела на дождь. Откуда-то из города слышался жалостный звук, протяжный, хриплый, металлический, как мычание железной коровы. Было грустно, и во всей моей конуре не находилось ничего утешительного. «Конура» – подходящее слово. В объявлении на последней странице английской газеты это называлось бы «апартаментами», но на деле – пара комнатенок да жалкая кухонька. Оштукатуренные стены в пятнах сырости. Некрашенные деревянные потолочные балки, которые мистер Витрони, должно быть, считал воплощением живописной рустикальности. По ночам оттуда падали многоножки. В

трещинах стен, в полу, а время от времени и в крошечной ванной появлялись небольшие коричневые скорпионы, считавшиеся ядовитыми, но не смертельно. Из-за дождя везде было темно и холодно, где-то капало, и звук разносился, как в пещере, возможно, оттого, что две квартиры наверху пока пустовали. В прошлый раз там жило семейство из Южной Америки; они до поздней ночи играли на гитарах, завывали и притопывали ногами, так что на нас градом сыпались куски шпукатурки. Мне тоже хотелось к ним, голосить и топотать, но Артур считал, что навязываться нехорошо. Он вырос в Новом Брансуике, в Фредериктоне.

Я перевернулась, и матрас цапнул меня за позвоночник. Прямо посередине торчала пружина; но я знала, что переключать матрас на другую сторону бессмысленно: там пружин целых четыре. Это ложе со всеми его впадинами, пиками и вероломством было моим старым знакомым, которое за год общения с другими людьми несколько не изменилось. На нем мы занимались любовью с пылом, достойным номера в мотеле. Артура возбуждали многоножки, отдававшие опасностью (Черная Смерть, хорошо известный афродизиак). А еще ему нравилось жить на чемоданах. Должно быть, он представлял себя политическим беженцем – по-моему, это было одной из его тайных фантазий, хотя он никогда ничего такого не говорил.

И наверное, это позволяло думать, будто скоро мы переедем в некое более приятное место; действительно, куда бы мы с Артуром ни попадали, первое время ему казалось, что там лучше. Потом – что просто иначе, а потом – абсолютно так же. Однако иллюзию перемен он предпочитал иллюзии постоянства, и декорацией нашего брака был некий виртуальный железнодорожный вокзал. Может, из-за того, как мы с ним познакомились? Или, начав с прощания, мы сразу к нему привыкли? Даже когда Артур шел на угол за сигаретами, я смотрела ему вслед так, словно никогда больше не увижу. А теперь и правда не увижу...

Я разрыдалась и быстро сунула голову под подушку. Но потом решила, что это нужно прекратить. Нельзя, чтобы Артур по-прежнему управлял моей жизнью, особенно с такого расстояния. Я – другой человек, уже почти совсем другой. Мне часто говорили: «Вы совершенно не похожи на свои фотографии». Это истинная правда; пара незначительных изменений – и я смогу пройти мимо него на улице, а он меня даже не узнает. Я выпуталась из простыней мистера Витрони – тонких, аккуратно заштопанных – и пошла в ванную. Чтобы избавиться от отеков на лице, я пустила холодную воду на маленькое полотенце и очень вовремя заметила коричневого скорпиона, притаившегося в складках. Трудно привыкнуть к подобным засадам. Если бы здесь был Артур, я бы раскричалась. А так просто отшвырнула полотенце и раздавила скорпиона доньшком банки с чистящим порошком – собственностью мистера Витрони. Он основательно забил квартиру средствами для поддержания чистоты – мылом, жидкостью для унитаза, щетками, – однако для приготовления пищи здесь были только сковорода и две кастрюли, причем одна – без ручки.

Волоча ноги, я побрела на кухню и включила газ. По утрам, до кофе, от меня никакого толку. Чтобы хорошо себя чувствовать, мне нужно отправить в рот что-то теплое; в данном случае – фильтрованный кофе, разбавленный молоком из треугольного пакета, который стоял на подоконнике. Холодильника здесь не было, но молоко еще не прокисло. Все равно его нужно будет прокипятить – тут все нужно кипятить.

Я села за стол с горячей чашкой, украсила полировку еще одним белым кружком и стала грызть сухари, размышляя, как обустроить свою жизнь. Шаг за шагом, сказала я себе. К счастью, у меня с собой было несколько фломастеров; надо написать список. *Покраситься,*

вывела я сверху яблочно-зеленым цветом. В Тиволи, а может быть, в Риме – и чем скорее, тем лучше. Тогда не останется ничего, что связывало бы меня с той, другой, стороной, кроме отпечатков пальцев. А проверять отпечатки у женщины, которая официально объявлена мертвой, никто не станет.

Я написала: *Деньги*. Подчеркнула два раза. Деньги – это крайне важно. Моих сбережений, если экономить, хватит на месяц. А если смотреть на вещи реально, то на две недели. Черный бархатный Колизей изрядно пошатнул мое финансовое положение. Взять из банка много я не могла – изъятие крупной суммы накануне исчезновения выглядело бы подозрительно. Будь у меня больше времени, я могла бы снять деньги со второго, рабочего, счета. Если бы, конечно, там что-то оказалось. Но, к сожалению, при поступлении гонораров я, как правило, сразу и почти все переводила на обычный счет. Интересно, кому достанутся деньги; Артуру, наверно.

Открытка Сэму, продолжила я свой список. Открытка с Пизанской башней куплена еще в аэропорту Рима. Зелеными печатными буквами я вывела условленную фразу:

ВСЕ ОТЛИЧНО. СВ. ПЕТР ВЕЛИКОЛЕПЕН. ДО СКОРОГО, ЦЕЛУЕМ,
МИТЦИ И ФРЕД.

Так он будет знать, что у меня все в порядке. В случае осложнений я написала бы: «ПРОХЛАДНО, У ФРЕДА ДИЗЕНТЕРИЯ. СЛАВА БОГУ, ЕСТЬ ЭНТЕРОВИОФОРМ! ЦЕЛУЕМ, МИТЦИ И ФРЕД».

Я решила, что сначала пошлю открытку, а уж потом подумаю о деньгах и окраске волос. Допив кофе и доев последний сухарь, я переоделась во второе из новых мешковатых платьев – белое с серыми и сиреневыми ромбами. И заметила, что ночная рубашка немного разорвалась по шву на уровне бедра. Это что же, раз меня никто не видит, можно становиться неряхой? Надо следить за собой, произнес чей-то голос, иначе хорошего не жди. *Иголки и нитки*, появилось у меня на листочке.

Я повязала голову шарфом с розовыми полицейскими и надела черные очки. Дождь прекратился, но небо оставалось серым; очки будут выглядеть странно, но тут уж ничего не попишешь. Я пошла по извилистой мощеной улочке вверх, к рыночной площади, сквозь строй старух, бессменно восседавших на порогах своих навязчиво-исторических каменных жилищ. Громадные, жирные, втиснутые в черные, будто траурные, платья, с раздутыми, как сардельки, ногами в шерстяных чулках, эти же старухи смотрели на меня вчера днем, сидели здесь в прошлом году и две тысячи лет назад. Они не менялись.

– *Bongiorno*, – проронила каждая при виде меня. Я кивала, улыбалась и повторяла это слово. Моя персона не вызывала у них особенного любопытства. Им уже известно, где я живу, и какая у меня машина, и что я иностранка, и про все мои покупки на рынке им тоже моментально докладывают. А что еще интересного в иностранце? Разве что мое одинокое положение: подобное считается противоестественным. Но я и сама не считаю это нормальным.

Почта располагалась в передней части исторического здания, мокрого после дождя. Внутри были скамья, конторка и доска объявлений с пришитыми фотографиями – видимо, тех, кто «РАЗЫСКИВАЕТСЯ»: хмурые мужские лица в профиль и анфас. На скамье сидели двое полицейских, а может, солдат, в форме, оставшейся со времен Муссолини: высокие жесткие ботинки, лампасы, снопы пшеницы на клапанах карманов. У меня колело в

затылке, пока я стояла у конторки, пытаюсь объяснить приемщице, что хочу купить марку для авиапочты. Вспоминалось почему-то только «*Par Avion*» – совершенно не тот язык. Я похлопала руками, как крыльями, чувствуя себя при этом полной идиоткой, но женщина сообразила, что к чему. Полицейские за моей спиной рассмеялись. Сейчас они унюхают мой паспорт: он, словно раскаленный металл, светится сквозь кожаные бока сумки, воеет, как сирена... Конечно, они захотят его проверить, допросить меня, доложить по инстанциям... И что тогда будет?

Женщина за конторкой сквозь прорезь в окошечке взяла мою открытку. Как только Сэм ее получит, он даст мне знать, насколько успешно все прошло. Я вышла на улицу, чувствуя на себе взгляды по-жучиному блестящих полицейских глаз.

План был очень хорош, подумалось мне; я могу собой гордиться. Вдруг захотелось, чтобы Артур узнал, какая я умная. Он-то думал, что я не способна найти дорогу до двери собственного дома, не то что уехать из страны. Я для него была растяпой, человеком, который отправляется в магазин с подробнейшим списком, где многие пункты внесены самим Артуром, и забывает сумочку, возвращается за ней, забывает ключи от машины, потом уезжает, забыв список; или привозит две банки икры, пачку каких-то особенных крекеров и полбутылки шампанского и пытается оправдать свой поступок тем, что купил всё на распродаже, – ложь, вечная ложь, за исключением самого первого раза. Хорошо бы он узнал, что я совершила нечто сложное и опасное, ни разу не ошибившись. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь, достойное его восхищения.

Подумав об икре, я сразу проголодалась. Через рыночную площадь я пошла к магазину, где продавались консервы и прочая бакалея, и купила еще одну коробку «Пик Фрин», сыр и макароны. На улице, у кафе, стоял древний грузовичок, с которого торговали овощами; видимо, это он сигналил раньше. Рядом толпились толстые домохозяйки в утренних ситцевых платьях и с голыми ногами, громко выкрикивая, что им нужно, и размахивая пачками денег. Продавец, молодой парень с гривой сальных волос, стоял внутри, накладывал овощи в корзинки и балагурил с женщинами. Когда подошла я, он улыбнулся и выкрикнул что-то такое, от чего женщины засмеялись и завизжали. Он стал предлагать мне виноград, искушающе вертя гроздь, но для моего ограниченного словарного запаса это было слишком; и я перешла к обычному овощному киоску. В результате мне достался не такой свежий товар, но зато продавец, старый добряк, снисходительно отнесся к моему тыканью пальцем.

В мясной лавке я купила два дорогих, тонких, как бумага, куска говядины, по моим воспоминаниям – почти безвкусной. Это было мясо годовалого теленка, здесь никто не мог себе позволить растить корову дольше, к тому же я так и не научилась его готовить – у меня вечно получалось нечто виниловое.

Назад я шла под горку, с пакетами в руках. Мой красный автомобиль, арендованный в «Херце», был припаркован против чугунной калитки перед дорожкой к дому. Я взяла машину в аэропорту и уже поцарапала – движение на одной римской улочке внезапно оказалось односторонним, *senso unico*. У машины толклись городские ребяташки, рисовали на пыли, которая тонким слоем покрывала капот, едва ли не со страхом заглядывали в окна, осторожно касались пальчиками крыльев. При виде меня они отскочили в сторону и, шепчась, сбились в стайку.

Я улыбнулась детям, подумав, как очаровательны их круглые карие глаза, живые, как у бельчат. У нескольких были светлые волосы, поразительно сочетающиеся с оливковой кожей.

Я вспомнила, что мне говорили, будто десять-пятнадцать веков назад варвары проходили именно по этим местам. Поэтому все здешние города и выстроены на холмах.

– *Bongiorno*, – сказала я. Малыши смущенно захихикали. Я прошла в ворота и захрустела по шлаку. Из-под ног порскнули две мелкие, почти карликовые, курицы цвета рваной картонки. На середине дорожки я остановилась, пытаюсь вспомнить, заперла ли дверь. Несмотря на якобы полную безопасность, расслабляться нельзя. Глупо, но меня преследовало ощущение, что в квартире кто-то есть – и он, дожидаясь меня, сидит в кресле у окна.

Но никого не было. Наоборот, стало как-то еще пустынное. Я приготовила еду – без единого ляпа, ничего не взорвалось и не выкипело – и съела все за столом. Но скоро, подумалось мне, начну есть на кухне стоя, из кастрюлек и сковородок. Так обычно происходит с одинокими людьми. Я решила срочно обзавестись правильными привычками.

После ланча посчитала деньги – наличность и дорожные чеки. Как всегда, оказалось меньше, чем я думала; необходимо заняться делом и заработать еще. Я подошла к комоду, выдвинула ящик с нижним бельем и стала в нем рыться. Господи, что только заставило меня купить эти красные трусики-бикини с вышитой черными нитками надписью «Воскресенье»? Королевский Дикобраз, конечно, – он, помимо прочего, помещан на белье. Красные трусики были частью комплекта «Уикэнд»; имелись еще «Пятница» и «Суббота», всё – на двух языках. Когда я достала их из полиэтиленовой упаковки, Королевский Дикобраз сказал: «Надень Воскресенье/*Dimanche*»; ему нравилось играть в поруганную добродетель. Я надела. «Обалдеть, – восхитился Королевский Дикобраз. – А теперь повернись». Он подкрался ко мне, и всё закончилось похотливым хитросплетением на матрасе. А вот бюстгальтер телесного цвета, с застежкой спереди. «Только для любовников», – говорилось в рекламе, вот я и отхватила лифчик в пару к любовнику. Я всегда покупалась на рекламу – в особенности ту, что сулила счастье.

Я взяла это обличительное белье с собой из страха, что после моей смерти Артур обнаружит его и поймет, что раньше ничего подобного у меня не видел. При моей жизни он никогда бы не заглянул в ящик с бельем; он стеснялся его, избегал, предпочитая думать, что интересуется более возвышенными вещами. Надо отдать Артуру должное: так оно и было большую часть времени. Поэтому ящик с нижним бельем я использовала как тайное хранилище и в силу привычки продолжала это делать сейчас.

Я вытащила черную записную книжку Фрезера Бьюкенена. Под ней, завернутая в комбинацию, лежала рукопись, над которой я работала перед смертью.

Шарлотта стояла посреди комнаты, там, где он ее оставил, бессознательно сжимая в руках шкатулку с драгоценностями. В большом камине потрескивал огонь. Его горячие блики плясали на мраморных фамильных гербах, венчавших украшенную богатой резьбой каминную полку. Несмотря на это, Шарлотту бил озноб. В то же время щеки ее пылали. Перед глазами и сейчас стояло его темное, неотразимое лицо, ухмылка, циничный изгиб бровей, жесткий рот, тонкогубый, ненасытный... Вспоминался оценивающий взгляд, скользивший по ее молодому, крепкому телу, восхищавшийся формами, которых не могло полностью скрыть дешевое, дурного покроя, черное креповое платье. Шарлотте хватало опыта общения с аристократией, чтобы знать, как эти люди относятся к женщинам вроде нее, вынужденным в силу неподвластных им обстоятельств самостоятельно зарабатывать на жизнь. И он ничем не лучше остальных! Шарлотта вспомнила об унижениях, которым подвергалась, и ее грудь начала бурно вздыматься под черной тканью. Лжецы, лицемеры, все до единого! Она уже начинала его ненавидеть.

Она заново оправит его изумруды и как можно скорее покинет Редмонд-Гранж! Этот огромный дом таит в себе зло, она почти физически ощущает его присутствие! В памяти всплыли загадочные слова Тома, кучера, сказанные, когда он не слишком галантно помогал

ей выйти из кареты:

– Не подходите близко к лабиринту, мисс, мой вам совет.

Этот мрачный человек обладал плохими зубами и крысиными повадками.

– Какому лабиринту? – спросила тогда Шарлотта.

– Скоро узнаете, – с гадким смеешком ответил Том. – Лабиринт погубил не одну юную леди из тех, что были здесь до вас. – И отказался что-либо объяснять.

За французскими окнами раздался серебристый смех, женский голос... Кому пришло в голову прогуливаться по террасе в такой час, да еще в ноябре? Шарлотта вздрогнула, вспомнив другие шаги, которые слышала здесь вчера ночью. Но тогда, выглянув из окна, она не увидела на террасе ничего, кроме лунного света да теней от кустарника, пляшущих на ветру.

Она подошла к двери, намереваясь взойти по лестнице в свою крохотную комнатку, расположенную на этаже прислуги. Вот как высоко ценит меня Редмонд, подумала Шарлотта с обидой. С тем же успехом я могла быть гувернанткой – повыше горничной или кухарки, но определенно не леди. А ведь я, если уж на то пошло, воспитана ничуть не хуже его.

Шарлотта вышла из гостиной и застыла в изумлении. У подножья лестницы, преграждая ей путь, стояла высокая дама в собольем дорожном плаще. Откинутый капюшон открывал взгляду огненно-рыжие волосы; низкий вырез алого платья обнажал полукружья пышной белой груди. Было видно, что этому изысканному наряду отдали весь свой талант и все свои навыки самые лучшие, самые модные портнихи Бонд-стрит. В то же время флер светской утонченности не мог скрыть хищной чувственности ее тела. Дама была умопомрачительно красива.

Она обратила к Шарлотте горящий взор. Зеленые глаза так и сверкнули в свете канделябра, серебряного, украшенного купидонами и виноградными гроздьями, который дама держала в левой руке.

– Кто вы и что здесь делаете? – царственным голосом требовательно спросила она. Но прежде чем Шарлотта успела ответить, Фелиция заметила у нее в руках шкатулку. – Мои драгоценности! – вскричала красавица. И ударила Шарлотту по лицу рукой, затянутой в перчатку.

– Спокойнее, Фелиция, – раздался голос Редмонда. Он вынырнул из тени. – Я хотел, чтобы оправка драгоценностей стала сюрпризом, подарком к возвращению домой. Но сюрприз получил я, ты приехала раньше, чем ожидалось. – Он засмеялся сухим, чуть издевательским смехом.

Женщина по имени Фелиция повернулась к Редмонду, обожгла его жарким собственническим взглядом и, дразня улыбкой, обнажила маленькие, белые, безупречные зубы. Редмонд галантно поднес к губам ее обтянутую перчаткой руку.

Не хватало восьми страниц, самых первых. Я подумала, что забыла начало рукописи дома и теперь Артур обязательно его найдет. Однако такого быть не могло, я не настолько рассеянна. Наверное, их взял Фрезер Бьюкенен, унес в рукаве пиджака, свернул в трубочку и сунул в карман, пока был в спальне, еще до моего появления. Ничего, у меня есть заложник получше – его записная книжка.

Восстановить начало несложно. Шарлотта в не самой лучшей из карет Редмонда, встретившей ее на вокзале, проезжает поворот широкой липовой аллеи. Она кутается в

никуда не годную шаль и тревожится о бедности своего гардероба и обшарпанности сундука, который стоит в ногах: пожалуй, слуги будут над ней смеяться. В отдалении встает Редмонд-Гранж с его увесистой женственной посадкой, мужественными башнями и зловещей аурой. Высокомерный дворецкий проводит Шарлотту в библиотеку, где, заставив ее неприлично долго ждать, с ней разговаривает хозяин дома. Он выражает удивление тем, что ювелиры прислали женщину, подразумевая, что ей не под силу выполнить требуемую работу. Шарлотта отвечает твердо, даже немного дерзко. Хозяин дома замечает вызов в ее сверкающих голубых глазах и роняет, что она, пожалуй, чересчур независима – едва ли это может пойти ей на пользу.

– В моем положении, сэр, – отвечает она с чуть заметной горечью, – приходится быть независимой.

Шарлотта, разумеется, сирота. Ее отец – младший сын благородного семейства, которое отвернулось от него после женитьбы на матери Шарлотты, очаровательной женщине, танцевавшей в оперном театре. Оба умерли от оспы во время эпидемии. Самой Шарлотте повезло: у нее на лице осталось всего несколько отметин, лишь добавляющих пикантности ее внешности. Девочку воспитал дядя, брат матери, богатый, но скупой человек, который заставил племянницу выучиться ее нынешнему ремеслу, а затем умер от желтой лихорадки. Шарлотте он ничего не оставил, ибо никогда ее не жаловал, а благородное семейство отца не пожелало иметь с ней ничего общего. Теперь ей хочется, чтобы Редмонд знал: в его доме и в его власти она не по доброй воле, а по необходимости. Всем надо как-то зарабатывать на хлеб.

Нужно рабочее название. «Господин Редмонд-Гранжа», например, или, еще лучше, «Ужас Редмонд-Гранжа». Ужасы – моя специализация; ужасы и исторический колорит. Или лучше взять что-нибудь со словом «любовь»: любовь великолепно продается. Многие годы я пыталась объединить в одном заглавии любовь и ужас, но это не так-то просто. «Любовь и ужас в Редмонд-Гранже». Нет, слишком длинно – и слишком похоже на «Близняшки Бобси в Сансет-Бич»... «Моя любовь была ужасна»... ну, это прямо Мики Спиллейн... «Гонимые любовью» – на крайний случай сойдет.

Еще понадобится пишущая машинка. Я всегда печатаю свои тексты вслепую; так быстрее, а в моей работе скорость имеет большое значение. Я хорошо это умею; у нас в школе, в старших классах, машинопись для женщины считалась чем-то вроде вторичного полового признака, скажем, груди. Надеюсь, в Риме удастся купить подержанную машинку. Тогда я быстро перепишу начало, сочиню еще глав восемь-девять и отошлю в издательство «Гермес» с сопроводительным письмом: мол, по рекомендации врачей переехала в Италию. Они меня ни разу не видели, знают только под другим именем и считают библиотекаршей средних лет, толстой и стеснительной. По сути, затворницей, которая к тому же страдает аллергией на пыль, шерсть, рыбу, сигаретный дым и алкоголь – этим я оправдывалась, когда отклоняла приглашения на ланчи. Всегда старалась держать обе свои личности как можно дальше друг от друга.

Артур и сейчас не знает, что я – автор «Костюмированной готики». Сначала я писала, когда его не было дома. Потом стала закрываться в спальне под тем предлогом, что изучаю экстерном какой-нибудь университетский предмет: китайскую керамику, например, или сравнительный анализ мировых религий. Ни одного из этих курсов я не кончила по той простой причине, что даже не записывалась на них.

Почему я ничего ему не сказала? Главным образом из страха. В начале нашего

знакомства он много рассуждал о том, что ищет женщину, чей ум мог бы уважать, и было ясно: стоит ему узнать, что «Тайну Моргрейв-Мэнор» написала я, и моему уму уже ничего не светит. А я всегда мечтала обладать умом, достойным уважения. Но друзья Артура, книги с многочисленными сносками, которые он читал, дела, которым служил, рождали во мне ощущение собственного убожества и нелепости. Я была чем-то вроде интеллектуального деревенского дурачка, и правда о моей профессии все бы только ухудшила. Мои книги с их немислимыми обложками – все эти зловещие замки, взволнованные девы в платьях а-ля ночная сорочка, со струящимися по ветру волосами и вытарашенными, будто от базедовой болезни, глазами, все эти пальчики ног, готовые к бегству, – сочли бы макулатурой самого что ни на есть низкого пошиба. И даже хуже. Ибо разве эти книги не участвуют в эксплуатации народных масс, не развращают их, навязывая пошлый стереотип женщины как беспомощного и гонимого существа? Безусловно, и я это знала. Но прекратить писать не могла.

«Ты же образованная женщина», – сказал бы Артур. Он всегда так говорил, собираясь указать на какой-либо мой недостаток, и тем не менее искренне в это верил. Раздраженная усталость в его голосе была досадой отца умных детишек, которые принесли из школы плохие отметки.

Он бы не понял. Ему просто не дано постичь ту квинтэссенцию чувств, ту готовность, с какой мои читательницы бегут от действительности, – все то, что я понимаю, как никто другой. Жизнь этих женщин безрадостна, и бороться с нею им не под силу, они разваливаются от трудностей, как суфле от порыва ветра. Побег от реальности для них не роскошь, а необходимость. Он нужен им в любом виде. И когда усталость валит с ног и нет сил самой что-то выдумывать, в аптеке на углу моя читательница всегда находит то, что приготовлено для нее мной – в красивой, как всякое болеутоляющее, упаковке. Оно плотается, как пилюли, осторожно и быстро, пока, скажем, фен сушит локоны, накрученные на пластмассовые бигуди, или пока масло для ванн делает кожу розовой и бархатистой и оставляет вокруг стока грязное кольцо, которое потом нужно удалять «Аяксом». И тогда руки пахнут больницей, муж говорит, что привлекательности в тебе не больше, чем в губке для мытья посуды, и ты начинаешь переживать, что недостаточно хороша, и оплакивать уходящую молодость... Про побег от реальности я знаю все – я на этом выросла.

Мои героини, с их неясным обликом, – всего лишь заготовки, из которых каждая женщина может вылепить себя, только чуточку красивее. По вечерам в сотнях тысяч домов эти тайные «я» вылетают из своих земных оболочек, возносятся над кроватями и пускаются в приключения, такие сложные и увлекательные, что о них нельзя рассказать никому, – а меньше всего мужу, который храпит рядом зачарованным храпом и, в самом предосудительном случае, развлекается с банальным плейбойским зайчиком. Я прекрасно знаю свою аудиторию: я ходила с ними в школу, была им лучшей подругой, добровольно записывалась во всяческие комитеты, в старших классах украшала спортзал плакатами «Попрыгаем, поскачем!», «Танцы-топотанцы» и уходила домой есть бутерброды с арахисовым маслом и читать романы в бумажных обложках, пока остальные танцевали. Я была «мисс Личность», всеобщая confidentка и настоящий друг. Мне они рассказывали всё.

Поэтому теперь мне легко быть доброй феей, несмотря на все очевидные недостатки моих подопечных: слишком тощие икры, локти, шершавые, как цыплячьи коленки, волоски над верхней губой, совершенно неприемлемые, если верить рекламам на задних обложках журналов про кино... Но мне дано превращать тыквы в золото. Война, политика, сплав по Амазонке и другие великие побеги от действительности моим читательницам недоступны, а

хоккей, футбол – то, во что они не играют, – неинтересны. Так зачем отказывать им в замках, злодеях, прекрасных принцах? И если вдуматься, кто такой Артур, чтобы судить о социальной уместности или неуместности? Иногда меня прямо тошнит от его проклятых теорий и идеологий. Ведь я предлагаю надежду, картину пусть нелепого, но лучшего мира. Что здесь плохого? Неужто это хуже прожектов Артура и его друзей? Во всяком случае, ровно так же реалистично. «Ну, хорошо, вы печетесь о благе народа, рабочих, – ночью, про себя, спорила я с Артуром. – Так посмотрите, что ваш народ читает, по крайней мере женская его часть... когда вообще находит время читать и при этом не желает иметь дела с социальным реализмом «Правдивых признаний». Они читают мои книги! Поймите вы наконец».

Но это означало бы наступить Артуру на самую больную и священную мозоль. Умнее было бы подступить с материалистически-детерминистских позиций: «Артур, так уж вышло, что именно это я умею делать лучше всего, именно это мне больше всего подходит. Так получилось случайно, однако я втянулась, и теперь это моя профессия, единственный способ зарабатывать на жизнь. Как говорят шлюхи, «на кой черт мне идти в официантки?» Ты всегда утверждал: только осмысленный труд может сделать женщину цельной личностью, настаивал, чтобы я нашла какое-то занятие. Ну так вот моя работа вполне, как я считаю, осмысленная. И трутнем меня не назовешь, таких книг я написала пятнадцать!»

Впрочем, Артур бы на это не купился. Образец совершенства Марлена три месяца проработала наборщицей («Нельзя по-настоящему узнать рабочих, пока не побываешь в их шкуре»), и для сноба Артура меньшего было бы недостаточно.

Бедный Артур. Что он делает один в квартире, среди обломков нашего семейного счастья? Чем занимается в эту минуту? Распихивает мои красные и оранжевые платья по мешкам, чтобы отдать в Общество инвалидов? Выбрасывает мою косметику? А может, листает тетрадку с газетными вырезками, которые я в детском упоении собирала в первые недели после выхода «Мадам Оракул»? Как наивно было полагать, что я наконец-то добьюсь от них уважения... Тетрадка с вырезками отправится в помойку вместе с прочими обрывками моей жизни, оставшимися на другой стороне. Интересно, что он себе оставит? Перчатку, туфлю?

Но вдруг он сейчас грустит обо мне? Об этом я как-то не подумала: что Артур, как и я, может тосковать, ощущать непоправимость утраты. Вдруг я судила о нем несправедливо? Эта мысль меня потрясла. Предположим, он не испытывает ненависти ко мне, не думает о мести? Что, если я нанесла Артуру смертельный удар? Может, надо послать из Рима анонимную открытку – *Джоан жива, подпись: Друг* – чтобы его ободрить?

Мне следовало больше ему доверять. С самого начала. Быть честной, говорить о своих чувствах, обо всем рассказывать. (Вот только не разлюбил ли бы он меня, узнав, какова я в действительности?) Но я боялась разрушить его иллюзии, а поддерживать их было так просто, требовалась лишь капелька самодисциплины: никогда не сообщать ему ничего важного.

Нет, большая честность меня бы не спасла, подумала я; скорее уж большая нечестность. По моему опыту, искренность и разговоры о чувствах ведут только к одному. К катастрофе.

Выпусти из банки одного червяка, и за ним сразу полезут остальные. Так говорила тетя Лу; у нее в запасе было множество полезных максим – и народных, и собственного изобретения. К примеру, «язык мой – враг мой» я слышала и от других, но «кота в мешке не утаишь» и «кроликов после фокуса считают» – никогда. Тетя Лу ценила осмотрительность, но исключительно в важных вопросах.

Именно по этой причине я почти ничего не рассказывала Артуру о своей матери. Стоило только начать, и он очень скоро понял бы про меня все. Вскоре после знакомства я изобрела мать специально для него – спокойную, добрую женщину, умершую от редкого заболевания. Волчанки, кажется.

К счастью, Артур никогда особо не интересовался моим прошлым, поскольку был слишком занят рассказами о своем. Чего я только не знала про его мамашу: и то, как она будто бы с первой секунды знала о его зачатии и тогда же, прямо в матке, посвятила сына церкви (англиканской), и как грозила отрубить ему пальцы, когда в четыре года застала за играми с самим собой. Я знала о его презрении к ней и ее вере в воздаяние за упорный труд, до смешного совпадавшей с собственными убеждениями Артура; о страхе перед ее патологической страстью к порядку, символ которой – цветочные бордюры – его заставляли пропалывать. Я неоднократно слышала о ее неприязни к алкоголю и о баре его отца в одной из гостиных фредериктонского судейского особняка, который, по заверениям Артура, он давно отринул как проклятое прошлое, и о миниатюрных головах шотландцев на крышках бутылок, до неприличия похожих на соски – так, по крайней мере, я их себе представляла. Я знала о бесчисленных истерических посланиях, в которых мать отрекалась от Артура по тому или иному поводу: из-за политики, религии, секса... Одно такое письмо пришло, когда ей стало известно, что мы живем вместе, – и она действительно никогда меня не простила.

Я преданно внимала рассказам обо всех ее чудовищных несправедливостях отчасти потому, что надеялась в конце концов понять Артура, но главным образом – в силу привычки. На одном из этапов своей жизни я была превосходной слушательницей, культивировала в себе этот талант, рассудив, что лучше уж уметь это, чем вообще ничего. Я выслушивала всё от всех, бормоча в нужные моменты нечто ни к чему не обязывающее – удобная, успокаивающая, утешающая подушка. Позднее я стала подслушивать у замочных скважин, в автобусах, в ресторанах, но из-за односторонности это было не совсем то же самое. Мне не составляло труда выслушивать Артура, и в итоге я знала о его матери намного больше, чем он о моей – не то чтобы это мне сильно помогло. Знание – не всегда сила.

Впрочем, об одной вещи я все-таки рассказала, хотя это и не произвело того впечатления, на которое я рассчитывала: моя мать назвала меня в честь Джоан Кроуфорд. Почему, осталось для меня загадкой. Чтобы я выросла похожей на ее героинь – красивой, амбициозной, безжалостной разбивательницей сердец? Или из желания, чтобы я добилась успеха? По словам моей матери, Джоан Кроуфорд очень много трудилась, обладала невероятной силой воли и создала себя буквально из ничего. Но все равно, зачем понадобилось давать мне чужое имя? Чтобы у меня никогда не было своего? Если вдуматься, Джоан Кроуфорд тоже носила не свое имя. По-настоящему ее звали Люсиль Лесюэр. Это подошло бы мне куда больше: Люси Пот. Когда мне было лет восемь-девять, мать часто задумчиво смотрела на меня и говорила: «Подумать только, я назвала тебя в честь Джоан

Кроуфорд». От этого схватывало живот, и грудь наливалась свинцом, и охватывал страшный стыд; я чувствовала в ее словах укор, но толком не понимала за что. Ведь Джоан Кроуфорд – фигура неоднозначная. В ней было и нечто трагическое: большие серьезные глаза, горестный рот, высокие скулы; ее постигали всякие беды. Может, дело в этом? Или вот еще что немаловажно: Джоан Кроуфорд была стройной.

В отличие от меня. Этого, как и многого другого, мать так и не сумела мне простить. Сначала я была просто пухленькая; на первых фотографиях в альбоме я хороший, здоровый ребенок, ничуть не толще других, и единственно странным кажется то, что я нигде не смотрю в объектив и обязательно тащу что-нибудь в рот: игрушку, руку, бутылку. Дальше снимки идут в надлежащем порядке, сериями; я хоть и не округляюсь на глазах, однако не теряю того, что обычно называют детским жирком. Потом мне исполняется шесть, и фотолетопись резко обрывается. Видимо, именно тогда мать поставила на мне крест – ведь это она меня снимала; видимо, ей расхотелось фиксировать этапы моего взросления. Она списала меня со счетов.

Я поняла это довольно рано. Меня отдали в школу танцев, к мисс Флегг, изящной и не улыбкающей, почти как моя мать; она учила детей чечетке и бальным танцам. Уроки проходили в длинном зале над мясной лавкой. Никогда не забуду, как я тяжело подымалась по пыльной лестнице, а запах опилок и сырого мяса постепенно сменялся душной вонью натруженных ног с примесью «Ярдли», одеколona мисс Флегг. Записывать семилетних девочек в школу танцев было модно – голливудские мюзиклы еще не утратили популярности, – а кроме того, мать надеялась, что я стану менее пухлой. Мне она этого не говорила, но призналась мисс Флегг; тогда мать еще не называла меня толстой.

В танцевальной школе мне очень нравилось. И я вполне сносно танцевала. Правда, иногда мисс Флегг резко стучала указкой по полу и говорила:

– Джоан, дорогая, не нужно так сильно топать. Я, как все маленькие девочки того времени, боготворила балерин; балет – девчачье занятие. Как часто я прижимала свой короткий поросячий носик к витринам ювелирных магазинов и во все глаза смотрела на фигурки в музыкальных шкатулках, на этих блестящих дам в накрахмаленных розовых пачках, с венками роз на фарфоровых головах. Я представляла, как стройный мужчина в черном трико подбрасывает меня вверх, и я в чем-то прекрасном, вроде кружевной салфетки, с капельками горного хрусталя в волосах, лечу, невесомая, как воздушный змей, и сверкаю, как надежда. Я выкладывалась на занятиях до предела, я была само упорство, и даже репетировала дома, в старой тюлевой занавеске для ванны, которую мать хотела выбросить в помойку. Занавеску, разумеется, выстирали, прежде чем отдать мне; мать не выносила грязи. Я мечтала об атласных пуантах, но для них, если верить объяснениям мисс Флегг, мы были еще малы, у нас еще не сформировались кости ступней. Пришлось довольствоваться черными тапочками с эластичным верхом из неромантической черной резинки.

Мисс Флегг была женщина талантливая; «креативного склада», как сказали бы в наши дни. Конечно, при обучении малышей элементарным движениям – бесконечное повторение, ничего больше – ее таланты не находили особого выхода, но мисс Флегг жила надеждами на ежегодный весенний концерт. Его устраивали главным образом для того, чтобы удивить родителей, но также и вдохновить самих учениц на продолжение занятий в следующем году.

Хореографию всех номеров ставила мисс Флегг. Она же готовила декорации и реквизит, придумывала костюмы, раздавала матерям выкройки и инструкции по шитью. Моя мать ненавидела шитье, но по такому случаю, сжав зубы, кроила и возилась с булавками, как все

остальные мамы. Видимо, тогда она еще все-таки не поставила на мне крест, не потеряла надежды.

Концерт, как и сами занятия, мисс Флегг решила проводить по возрастным группам. Их было пять: Крошки, Котятки, Куколки, Козочки и Красотки. Под сухим обликом мисс Флегг – длинные костлявые руки, волосы, стянутые в тугий пучок, брови-ниточки, вычерченные, как я позднее поняла, карандашом, – таилась сентиментальность, которая и задавала тон всему ее творчеству.

Я относилась к Крошкам, что само по себе создавало пуганицу в терминологии – я была не только увесистее всех девочек в классе, но постепенно становилась и самой высокой. Меня это нисколько не смущало, я даже не замечала этого, мною владела одна мысль – концерт. Я часами репетировала в подвале – только там разрешалось мне заниматься после того, как я нечаянно разбила одну из бело-золотых ламп в форме ананаса, украшавших гостиную. Я кружилась у стиральной машины, мыча про себя танцевальный мотив, склонялась в реверансе перед печкой (которую в те дни еще топили углем), раскачивалась среди простыней, сложенных вдвое и сохнувших на веревке, а когда уставала, то, запыхавшись, припорошенная угольной пылью, выбиралась из подвала – навстречу недовольной, с булавками во рту, матери. Меня оттирали мочалкой, а потом ставили на стул, где приходилось поворачиваться кругом и медленно. Даже ради примерки я едва могла устоять на месте.

Нетерпение матери было под стать моему, хотя и совсем иной природы. Думаю, она уже начинала жалеть, что отдала меня в танцевальную школу. Во-первых, я ничуть не похудела; во-вторых, стала шуметь вдвое больше, особенно когда, надев лакированные кожаные туфли с металлическими набойками на носках и каблуках, отбивала чечетку на паркетном полу в прихожей, хотя это было строжайше запрещено. Наконец, матери не давалось шитье. Она точно следовала инструкциям, но костюмы все равно сидели плохо.

Их было три, по количеству номеров, исполняемых Крошками: «Время тюльпанов», голландский бальный танец, где мы выстраивались в шеренгу по двое и махали руками, изображая мельницы; «Поднять якоря» – чечетка с быстрыми поворотами и отданием чести (война только закончилась, и милитаристская тема была в моде); и, наконец, «Бабочки-резвуньи», очень изящный танец, весь – нежное трепетанье, которое больше отвечало моим представлениям о хореографическом искусстве. Этот номер был моим любимым, как и наряд к нему: марлевая юбочка, короткая, словно у настоящей балерины, тесный корсаж с тесемками на плечах, расшитая блестками лента с усиками на голову и два раскрашенных целлофановых крыла на проволочных каркасах. Крылья выдала мисс Флегг, и мне до безумия хотелось их надеть, но делать этого не разрешалось до самого выступления, чтобы не сломать.

Именно этот костюм особенно беспокоил мою мать. Два других были еще ничего. Голландский наряд представлял собой длинную широкую юбку и черный корсаж с белыми рукавами, и я в любом случае стояла в заднем ряду. Для «Якорей» мы надевали форменные платья, отороченные галуном, – тоже нормально, если учесть вырез под горло, длинные рукава и свободу в талии. Из-за роста я и здесь попала в задний ряд; и не вошла в тройку счастливиц, кудрявых, как Ширли Темпл, которым предстояло исполнять соло на барабанах – бывших ящиках из-под сыра. Но это меня не огорчало: я делала ставку на танец бабочек. Там был парный проход с единственным мальчиком в классе, Роджером. Я в него немного влюбилась и надеялась, что девочка, которая должна с ним танцевать, заболит, и на

ее место возьмут меня. Ее роль я выучила почти так же хорошо, как и свою.

Я стояла на стуле. Мать втыкала в меня булавки и вздыхала; потом велела медленно повернуться, нахмурилась и воткнула еще несколько. Что ее угнетало, понятно: в короткой розовой юбочке, с подчеркнутой талией, голыми руками и ногами я выглядела карикатурно. Сейчас, глядя на эту картину глазами взрослого человека, к тому же истового пуританина, какими были моя мать и мисс Флегг, я понимаю: со своими рыхлыми бедрами и вздутиями жира там, где потом выросла грудь, с пухлыми плечами и складками на боках я выглядела непристойно, почти как слабоумная старуха или разжиревшая стриптизерша. По взглядам тех лет – было начало 1949 года, – подобный ребенок не имел права появляться в общественном месте в столь неприкрытом виде. Стоит ли удивляться, что я так влюбилась в XIX век: если верить тогдашним неприличным открыткам, изобилие плоти считалось достоинством.

Мать боролась с костюмом, удлинняя юбку и добавляя марли, чтобы скрыть очертания моего тела, подшивала что-то под корсаж; но сражение было бесполезно. Даже я, получив наконец разрешение посмотреться в трюмо над туалетным столиком матери, оказалась обескуражена. Конечно, я была слишком мала, чтобы всерьез обеспокоиться своими размерами, но тем не менее ждала совершенно другого. Это вовсе не похоже на бабочку. Но я твердо знала: стоит надеть крылья, и все будет хорошо. Уже тогда рассчитывала на волшебное преобразование.

Репетицию в костюмах назначили днем, а сам концерт – вечером, поскольку мы играли не в танцклассе, где было бы слишком тесно, а в актовом зале школы, который арендовали всего на один день, субботу. Мать пошла со мной; она несла костюмы в большой картонной коробке. Сцена оказалась узкая, гулкая, но бархатный занавес – тускло-багровый – это компенсировал; я потрогала его при первой возможности. За занавесом все гудело от волнения; было много мам. Некоторые из них вызвались накладывать грим и сейчас разрисовывали лица своих и чужих дочерей: губы – темно-красной помадой, ресницы – черной тушью. Ресницы твердели и превращались в мохнатые колючки. Накрашенные и одетые девочки, чтобы не испортить наряд, стояли у стенки неподвижно, как на заклинание. Старшие прохаживались, болтали; для них происходящее не имело такого большого значения, им уже доводилось участвовать в концертах, кроме того, их репетиция была позже.

«Время тюльпанов» и «Поднять якоря» прошли без сучка без задоринки. Мы, путаясь руками и ногами, нервно хихикая, переодевались за сценой, помогали друг другу с «молниями», застежками. У единственного зеркала толпилась куча народу. Тем временем Котятки, чьи выступления чередовались с нашими, исполняли свой номер – «Шаловливые комочки». Мисс Флегг наблюдала из-за кулис, отбивая такт указкой и периодически что-то выкрикивая. Она была очень возбуждена. Надевая костюм бабочки, я увидела около преподавательницы свою мать.

Я-то думала, она сидит в первом ряду на складном стуле, там, где мы с нею расстались: положила перчатки на колени, курит и подергивает ногой в туфле на высоком каблуке, с открытым мысом. А она вдруг оказалась здесь и о чем-то беседовала с мисс Флегг. Та поглядела на меня, подошла; мать – вслед за ней. Мисс Флегг встала надо мной и, крепко сжав губы, долго на меня смотрела.

– Понимаю, что вы имеете в виду, – сказала она моей матери. Позднее, обиженно вспоминая случившееся, я была уверена: не вмешайся моя мать, мисс Флегг ничего бы не заметила, хотя, возможно, это и не так. Факт тот, что они обе вдруг увидели, как вдохновенный замысел «Бабочек-резвуний» оборачивается чем-то смехотворным,

отгалкивающим – и все из-за одной толстой девчонки, похожей вовсе не на бабочку, а на гигантскую гусеницу. А если быть до конца точными, то на жирную белую личинку.

Этого мисс Флегг никак не могла допустить. Для нее полнота образа решала все. Ее постановкой должны были восторгаться искренне, а не из жалости и пряча улыбку. Сейчас мне ее немного жалко, но тогда... Так или иначе, творческие способности ее не подвели. Она склонилась ко мне, положила руку на мое круглое голое плечо и отвела в уголок. Встала передо мной на колени, пристально посмотрела в глаза. Взгляд был пронзительный, черный. Размытые брови поднимались и опускались.

– Джоан, деточка, – начала она, – как ты относишься к тому, чтобы исполнить особенную роль?

Я неуверенно улыбнулась.

– Ты ведь не откажешься мне помочь, дорогая? – ласково спросила мисс Флегг.

Я кивнула. Я любила помогать.

– Мне хочется чуточку изменить танец, – продолжала мисс Флегг. – Ввести новый персонаж. Ты у нас самая умная девочка, поэтому на эту новую, особенную роль я выбрала тебя. Как думаешь, справишься?

Я знала ее достаточно хорошо и, в общем-то, понимала, что подобная доброта подозрительна, но тем не менее сразу поддалась. И выразительно закивала, гордясь своей избранностью. Может, я буду танцевать с Роджером? Или мне дадут самые большие, самые важные крылья? Я с готовностью согласилась на все.

– Прекрасно, – сказала мисс Флегг, сжимая ладонью мою руку повыше кисти. – Пойдем, оденешься в новый костюм.

– А кем я буду? – спросила я, когда она уже вела меня переодеваться.

– Нафталиновым шариком от моли, дорогая, – отозвалась она безмятежно, как ни в чем не бывало.

Изобретательный ум, а возможно, и жизненный опыт подсказали ей, что нужно воспользоваться фундаментальным правилом выхода из нелепых ситуаций: если смешного положения нельзя избежать, нужно сделать вид, что ты оказался в нем намеренно. Я дошла до этого много позже и к тому же случайно. Но тогда, узнав, что мисс Флегг хочет заставить меня снять газовую юбочку и прелестные усики и надеть костюм игрушечного белого мишки, в котором Куколки исполняли «Медвежат на пикнике», я была оскорблена, попросту убита. А она еще собиралась надеть мне на шею большую табличку с надписью «Нафталиновый шарик»: «Чтобы все поняли, моя дорогая, кого ты играешь». Мисс Флегг сказала, что сама изготовит табличку в перерыве между репетицией и концертом.

– А крылья можно надеть? – спросила я, начиная постигать всю чудовищность жертвы, которой от меня добивались.

– Конечно, нет, разве бывают нафталиновые шарики с крыльями? – с шутливой рассудительностью ответила она.

Ее новый замысел состоял в том, что, едва бабочки кончат резвиться, я выбегу на сцену в белом костюме с табличкой на шее и разгоню их. Это будет очень мило, заверила мисс Флегг.

– Мне больше нравится как раньше, – робко сказала я. – Пусть лучше все останется как есть. – Я готова была разреветься; а может, уже начала плакать.

Тогда мисс Флегг повела себя иначе. Она приблизила ко мне лицо – я увидела морщинки вокруг глаз, почувствовала кислотоватый запах зубной пасты – и медленно, внятно

проговорила:

– Сделаешь, как я говорю, или не будешь танцевать совсем. Поняла?

Остаться без выступления – это было слишком. Я капитулировала. Но расплатилась за это сполна: пришлось стоять в костюме нафталинового шарика, чувствуя на плече руку мисс Флегг, и слушать, как она рассказывает остальным Крошкам, этим легким сильфидам с блестящими крылышками и в невесомых юбочках, об изменении в планах и моей новой, главной, роли. Они смотрели на меня и обиженно кривили крашенные роты: почему выбрали не их?

Мы пошли домой. Я отказывалась разговаривать с матерью; она – предательница! Стоял апрель, но, несмотря на это, падал легкий снежок, чему я была рада: на матери были открытые белые туфли. Вот и пусть у нее промокнут ноги. Я убежала в ванную и заперла дверь, чтобы она не вошла; потом разрыдалась, безудержно, лежа на полу и тычась лицом в пушистый розовый коврик. Затем перетащила корзину с грязным бельем, влезла на нее, посмотрелась в зеркало. Косметика потекла, по щекам бежали грязные ручьи, слезы из сажи, багровые губы распухли, помада расплылась. Чем я им не угодила? Ведь я же хорошо танцую?

Мать недолго уговаривала меня выйти, потом начала угрожать. Я вышла, но обедать не стала: страдать должна не только я одна. Мать кремом «Понд» стерла с моего лица остатки краски – страшно при этом ругаясь, ведь теперь грим придется накладывать заново, – и мы снова пошли в школу. (Где был отец? Его не было.)

Вскоре я, с красным лицом, обливаясь потом в ненавистном костюме, стояла за кулисами, прислушивалась к покашливанию публики и скрипу складных стульев перед началом концерта и жутко завидовала бабочкам. Потом мне пришлось смотреть, как они с удивительной точностью проделывают движения, которые я знала лучше всех – в этом у меня не было никаких сомнений. Но самое ужасное, что я до сих пор не понимала, почему со мной так обошлись и за что мне такое унижение, пусть даже замаскированное под привилегию.

В нужный момент мисс Флегг толкнула меня в спину. Я вывалилась на сцену, стараясь, согласно ее наставлениям, выглядеть настоящим нафталиновым шариком, и начала танцевать. Никаких специальных движений в моем танце не было, я их не разучивала, а потому импровизировала на ходу. Размахивала руками, расталкивала бабочек, кружилась и так яростно топала ногами, что подо мной шатались хлипкие доски сцены. Я вошла в роль, вся отдавшись пляске гнева и разрушения. По щекам, невидимые под мехом, катились слезы, бабочки были обречены на смерть; мои ноги потом болели несколько дней. «Это не я, – твердила я себе, – меня заставили». Но даже под огромным, жарким медвежьим костюмом я чувствовала себя обнаженной – будто этот нелепый танец выставил на всеобщее обозрение мою сокровенную сущность.

Бабочки по сигналу разбежались, и я, к огромному своему изумлению, осталась на сцене одна, лицом к лицу с публикой. Зрители не только хохотали, но и горячо аплодировали. Смех и рукоплескания не утихли, даже когда на поклон вышли миниатюрные, изящные крылатые красавицы; несколько человек, среди которых, кажется, было больше отцов, чем матерей, закричали:

– Bravo, шарик!

Это меня чрезвычайно озадачило: как кому-то мог понравиться мой нелепый, уродливый костюм рядом с другими, такими красивыми?

После концерта мисс Флегг много поздравляли с необыкновенной творческой находкой. Даже моя мать казалась довольной.

– Ты хорошо выступила, – похвалила она, но я все равно проплакала всю ночь над своими оборванными крыльями. Больше мне их никогда не надеть – я уже решила, что, невзирая на всю любовь к танцам, осенью к мисс Флегг не вернусь. Конечно, я сорвала намного больше аплодисментов, чем другие, но... такое ли внимание мне нужно? Я не была в этом уверена. И вообще, кто захочет жениться на шарике из нафталина? Вопрос, который мать задавала мне очень часто – позднее и в других формах.

Первое время, когда я мысленно возвращалась к той истории – под подушкой или запершись в ванной комнате, – то неизменно переживала одно и то же: беспомощную ярость перед предательством. Но постепенно все это стало казаться глубоко абсурдным – особенно если возникало искушение с кем-то поделиться. Вместо того чтобы осудить мою мать, люди, пожалуй, посмеялись бы надо мной. Трудно искренне сострадать жирной семилетней девочке, которую заставили танцевать в костюме белого медведя; слишком уж потешна картинка. Однако, представь я себя существом хрупким и очаровательным, слушатели единодушно решили бы, что со мной поступили ужасающе несправедливо. К десяти годам я это уже прекрасно понимала. Если бы, скажем, Дездемона страдала избыточным весом, кого бы огорчило, что Отелло ее придушил? Почему девушки, которых на обложках журналов известного толка пытаются нацисты, непременно хорошенькие и стройные? Потому, что, будь они толстыми, эффект оказался бы иным. Мужчины не возбуждались бы, а катались от смеха. Между тем некрасивых толстух подвергают мучениям ничуть не реже, чем худышек. А даже чаще.

Через год после фиаско в танцевальной школе, когда мне было восемь, мы сменили тесный двухквартирный домик на жилье побольше – коробку, похожую на бунгало, недалеко от супермаркета «Лоблауз». Совсем не такой дом моя мать полагала для себя достойным, но все же он был лучше тех временных мест обитания, тех захудалых квартир и верхних этажей старых домов, с которыми ей приходилось мириться до сих пор. Для меня переезд означал новую школу и новое окружение, и мать посчитала, что наилучший способ помочь мне, как она выразилась, освоиться – это записать меня в скауты. Причем, что характерно, выбрала не ближний к дому отряд, куда ходили практически все девочки из нашего класса, а дальний, в районе получше, который посещали дети из совершенно других школ. В результате ни одна из поставленных задач не была решена. Я не имела возможности подружиться с девочками из своей школы, скорее наоборот – раздражала их, поскольку, чтобы вовремя попасть к скаутам, каждый вторник уходила с занятий раньше; а в отряде была чужой, потому что жила в другом районе.

В отряд надо было добираться на трамвае, а чтобы попасть на остановку, требовалось перейти один из бесчисленных глубоких оврагов, что вились через город. Этот овраг очень пугал мою мать: он весь зарос травами и диким виноградом, там было много ивовых деревьев и разных кустов – и за каждым ее воображение рисовало извращенцев, старых бродяг, обезумевших от пьянства, педофилов и бог знает кого еще. (Иногда она говорила об «экспрессионистах», мужчинах, которые любят *выставляться*, из-за чего я стала с подозрением относиться к Канадской национальной выставке.) Каждый четверг, перед тем, как я уходила в школу – в коричневой скаутской форме, которую приходилось надевать с самого утра, и ботинках, тщательно мною начищенных с вечера, – начинался с лекции.

– Не разговаривай с нехорошими мужчинами... Если кто-то подойдет к тебе в овраге, беги со всех ног.

Все эти наставления выдавались во время завтрака – тоном, подразумевавшим: как ни беги, уйти не удастся. Я была обречена. Овсянка камнем падала мне в желудок. Мать никогда не говорила, как эти мужчины выглядят и что они будут делать, если меня поймут, и это, естественно, оставляло большой простор для воображения. Но от ее слов я себя чувствовала

заранее виноватой, будто сама насажала в овраге кустов и расставила за ними нехороших мужчин: если что случится, сама дура.

Чтобы пересечь овраг, нужно было спуститься по длинному каменистому склону, а потом перейти через деревянный мост, старый и покосившийся. Некоторые доски сгнили почти до основания; сквозь дыры, далеко внизу, виднелась земля. Потом приходилось взбираться наверх; ветки, нависавшие над тропинкой, хватали тебя, точно в страшной сказке. Я обычно стремительно сбегала вниз и проносилась по мостику, тяжело, будто пущенная с горы бочка, но к подъему так выдыхалась, что наверх шла шагом. Это была худшая часть пути.

Несколько раз я ходила этой дорогой одна, но потом мать нашла решение. Как и большинство ее решений, оно оказалось хуже самой проблемы. Она выяснила, что по нашу сторону оврага есть и другие матери со столь же честолюбивыми устремлениями, что и у нее; во всяком случае, они записали дочерей в тот же скаутский отряд. Я узнала об этом раньше, но матери не говорила: девочки были старше меня на класс и больше, и я их боялась. Пусть мы ходили одной дорогой, но я всегда следила, чтобы между нами сохранялось почтительное расстояние, и в трамвае садилась как минимум за четыре сиденья от них. Однако моя мать на том этапе своей жизни была великим организатором. Она созвонилась с другими мамами, тоже знавшими про нехороших мужчин, и, недолго думая, договорилась, что я буду ходить на занятия вместе с их дочками. Я ужасно стеснялась, но зато у оврага мне действительно бывало спокойнее.

Беда в том, что я вопреки всем трудностям боготворила скаутский отряд еще больше, чем танцевальную школу. У мисс Флегг требовалось стремление стать лучше других, а у скаутов – быть как все, и этот посыл все сильнее мне imponировал. Мне понравилось носить такую же, как у всех, мешковатую форму с нелепым военизированным беретом и галстуком, разучивать вместе со всеми речевки, обмениваться рукопожатиями и салютами, выкрикивать хором, нараспев:

Скаут слушается *старших*,
ЗАБЫВАЕТ о себе!

У нас даже были, можно сказать, танцы. В начале каждого занятия, после того, как на травянисто-зеленый войлочный коврик выносили амулет нашей группы – слегка обветшалую поганку из папье-маше, и седовласая женщина в синем костюме Вожатой, подмигнув, дважды ухала совой, скауты выбегали из всех четырех углов комнаты, по шесть человек, и кружились в быстром, бешеном танце, пронзительно, во весь голос, выкрикивая слова отрядной песни. Мои были такие:

Перед вами веселые Гномики,
Помогают они мамам в домике.

Это была не совсем правда: я маме не помогала. Она не разрешала. Несколько раз я пыталась, но она неизменно оказывалась недовольна. Я могла ей помочь, только превратившись в совершенно другого человека, но такое до меня еще не доходило. Ей не нравился мой слишком вольный подход к уборке постели, раздражали осколки, остававшиеся

после вытирания посуды. Она не любила отскрести со дна кастрюль угольки после моих кулинарных экспериментов («самостоятельно приготовленный десерт» – одно из скаутских испытаний) или заново накрывать на стол, где все поставлено наоборот. Вначале я по совету «Памятки скаута» еще пробовала удивить мать Добрыми Делами и однажды в воскресенье принесла на подносе завтрак в постель, но оступилась и вывалила на нее мокрые кукурузные хлопья. Потом начистила черным гуталином ее хорошие, темно-синие замшевые туфли. В другой раз решила вынести мусорный бак, слишком для меня тяжелый, и уронила его на лестнице. Мать не отличалась терпеливостью и довольно скоро объявила, что лучше будет сразу делать все сама, чем переделывать за мной. Она употребила слово «неумеха», чем довела меня до истерики; но зато я была освобождена от домашних обязанностей, правда, принять это за благо смогла лишь много-много позже. Так или иначе, свои слова я пропевала не морщась и радостно топала вокруг поганки, поднимая облака церковно-подвальной пыли и сжимая ладонями потные ручки других Гномов.

Вожатая нашей стаи звалась Коричневой Совой; как нам объяснили, совы – символ мудрости. Никогда ее не забуду: сушеное яблоко лица, серебристо-серые волосы, острые голубые глаза, сразу замечавшие и тусклое пятно на волшебном медном значке, и грязь под ногтем, и плохо завязанный шнурок. В отличие от моей матери Коричневая Сова отличалась беспристрастностью и добротой и начисляла нам баллы за добрые намерения. Меня она просто околдовала. Трудно было поверить, что взрослый – старше моей матери – человек может сидеть на полу на корточках, кричать: «у-ху, у-ху» и петь: «Встанут скауты в кружок, станет магом всяк дружок». Коричневая Сова вела себя так, будто верит в это и не сомневается, что мы тоже верим. Это было ново: человек легчевернее меня. Иногда мне становилось ее жалко: я-то знала, сколько мы щипались, пихались и толкались во Время Раздумий и кто корчил рожи за спиной у Коричневой Совы, пока мы торжественно обещали «исполнять свой долг перед Богом и Королем и всегда помогать людям, особенно близким». У Коричневой Совы была приспешница помоложе, Рыжая Сова. Подобно всем вице-лицам, она труднее поддавалась на обман и пользовалась меньшей популярностью.

Девочек, с которыми я ходила через овраг, звали Элизабет, Марлена и Линн. Им было по десять лет, и они готовились стать Лидерами. Если ты получал Золотые Крылья, это называлось «взлететь». В противном случае ты просто поднимался по ступеням. Элизабет, вне всяких сомнений, предстояло взлететь: она была вся в нашивках, как чемодан дипломата. Марлена, вероятно, тоже, а Линн, скорее всего, нет. Элизабет была Эльфом, о чем свидетельствовали две полоски на рукаве, а Марлена – Феей. Кем была Линн, не помню. Я восхищалась Элизабет и боялась двух других – они боролись за ее внимание довольно жестокими способами.

Сначала они меня терпели – всю ужасно долгую дорогу до трамвайной остановки. Правда, заставляли идти чуть позади, но это была вполне приемлемая цена за охрану от таинственных нехороших мужчин. Так продолжалось сентябрь и октябрь, пока можно было кататься на роликах и прыгать через скакалку, пока желтели и опадали листья. Потом листья сторели в кострах, которые разводили у тропинки – тогда это еще не запрещалось, – а гольфы до колена сменились чулками и зимними пальто. Дни стали короче; домой мы возвращались в темноте, по мосту, освещенному с каждого конца единственным тусклым фонарем. Когда выпал снег, нам понадобились рейтузы и теплые штаны, которые надевались поверх юбок – те сбивались в комок между ногами – и держались на эластичных подтяжках. Тогда девочкам не разрешалось ходить в школу в брюках.

Эта темнота, зима, рейтузы, мягкий снег, под которым гнулись к земле ветви ив, смыкавшихся над мостом в голубоватую арку; эта ослепительная белизна, открывавшаяся над оврагом; все, что могло стать таким красивым воспоминанием, для меня олицетворяет тоску и отчаяние. Ибо к тому времени Элизабет и ее воинство узнали мой секрет: насколько легко довести меня до слез. В нашей школе девочкам не полагалось ругаться, драться, натирать друг другу лица снегом, и никто этого не делал. На переменах все стояли во дворе кучками, шептались, *подговаривались*. Слова были не прелюдией к войне, но самой войной, необъявленной, скрытой, нескончаемой – без решительных действий, нокаутирующих ударов, без момента, когда можно сказать «сдаюсь». Проигрывала та, что первой начинала плакать.

Элизабет, Марлена и Линн учились в других классах, иначе раскусили бы меня гораздо раньше. Тогда, в восемь лет, я еще плакала на людях, очень легко обижаясь, несмотря на вечные попреки матери, мол, нельзя вести себя как младенец. Сама она была очень выдержанна – настоящий кремень, никогда не сомневалась и не плакала. Лишь много позже я научилась доводить ее до слез – и какой был триумф, когда это удалось впервые.

На пыльных вторничных занятиях – бесконечные ритуалы, лычки и пришивание пуговиц – Элизабет была Лидером Гномов, а я – одной из пяти ее подопечных. Роковым для меня стало завязывание узлов. Мы уже научились брать рифы на парусах, и Рыжая Сова, специалистка по узлам, решила, что нам по плечу выбленочный узел, поэтому на спинке стула висел шнур с восхитительно-манящим серебряным свистком на одном конце. Она показывала, а у меня глаза сошлись к переносице от напряжения – я смотрела так внимательно, что ровным счетом ничего не видела. Когда подошла моя очередь повторить волшебный трюк, веревка макарониной выскользнула из пальцев, и я осталась со спутанным клубком в руках. Рыжая Сова специально для меня все повторила снова, но без толку.

– Джоан, ты не следишь, – укорила Рыжая Сова.

– Нет, слежу, – серьезно возразила я.

Рыжая Сова рассердилась. В отличие от Коричневой Совы она прекрасно знала, что происходит у нее за спиной, и была довольно подозрительна. Мои возражения показались ей дерзостью.

– Если вы, Гномы, не хотите учиться, я пойду к Эльфам. Уж им-то наверняка будет интересно. – И Рыжая Сова решительно удалилась, забрав свой чудесный свисток. Разумеется, у меня на глазах тут же выступили слезы. Я не выносила ложных обвинений. Справедливых, вообще говоря, тоже; но несправедливость обижала больше всего.

Глаза Элизабет сузились. Она собиралась что-то сказать, но Коричневая Сова, которая всегда была начеку, быстро подошла к нам и бодро воскликнула:

– Ну же, Джоан! Мы, скауты, не любим печальных лиц; мы любим веселые мордашки. Не забывай: «Хмурые бьяки нехороши, скауты веселы от души».

От этого слезы потекли только сильнее, и, чтобы я не позорилась, меня отвели в раздевалку. Как сказала Коричневая Сова, пока я не вспомню, куда подевала свою скаутскую улыбку.

– Нужно учиться владеть собой, – добавила она добрым голосом, похлопывая меня по берету.

Я давилась рыданиями. Она ведь не знала, о каких огромных владениях идет речь.

Тем сине-черным вечером, когда мы по хрусткому снегу возвращались домой, Элизабет задержалась у последнего фонаря перед мостом. Она переглянулась с подругами – и девочки,

безо всякого предупреждения, понеслись вниз, заливисто хихикая. Не успела я ничего понять, как они уже исчезли в темноте. До меня доносились их крики:

– Плохой дядька тебя заберет!

Меня бросили; идти через овраг предстояло одной. Я кричала, звала, потом побежала следом, но они успели далеко уйти. Я шла по мосту, задыхаясь, вытирая сопливый нос варежкой и поминутно оглядываясь. Было около нуля, и конечно, ни один насильник, обладающий хоть каплей разума, не стал бы разгуливать по улице в такую погоду, а переместился бы на вокзал или в церковь, но я-то этого не знала. Тяжело пыхтя, я взобралась наверх; там, в засаде, меня и поджидали девочки.

– Какая же ты рёва, – с презрительным удовольствием сказала Элизабет – и определила наши отношения до самого конца учебного года.

Они бесконечно придумывали новые издевательства. Иногда они просто от меня убегали; иногда только грозились убежать. Временами заявляли, что убегают в наказание за какое-либо мое прегрешение: я топала в волшебном хороводе хуже всякого слона, криво стояла, у меня был мятый галстук, грязные ногти, и вообще я жирная. Иной раз девочки клялись, что не убегут или обязательно вернуться за мной, если я выполню их условие: проползу на четвереньках по снегу, лая по-собачьи, кину снежком в пожилую женщину, – в подобных случаях они тут же показывали на меня пальцем и кричали: «Это она, это она!» А иногда спрашивали: «Знаешь, что с тобой сделает плохой дядька, если поймают?» Отрицательного ответа им было недостаточно, они бросались прочь, хихикая в ладошки: «Не знает, не знает!» Однажды я полвечера простояла на вершине оврага, распевая дрожащим голосом: «Мы юные скауты, вот наша цель, давай свою руку, иди и верь». Я честно проделала это ровно сто раз и только потом поняла, что вопреки обещанию никто не собирается за мной возвращаться. А в другой день, когда мы спускались в овраг, мне велели прикоснуться языком к железным перилам, но было не очень холодно, и я не примерзла, как они рассчитывали.

Странно: несмотря на то, что приказы отдавала Элизабет, я твердо знала, что все издевательства выдумывают ее подруги. Особой изощренностью отличалась Линн: ее положение было шатко, ей не доставало силы характера, она легко могла занять мое место. Матери я ничего рассказать не могла, зная: как бы она ни отреагировала, втайне ее симпатии будут на стороне мучительниц. «Умей за себя постоять», – фыркнула бы она. Как могла *ее* дочь вырасти каким-то вялым воздушным шаром?

Иногда, оставшись одна в темноте и холоде, я почти надеялась, что из оврага в самом деле вылезет плохой дядька и сделает то, что ему положено. Пусть меня украдут или убьют. Тогда их накажут, тогда они наконец пожалеют. Плохой дядька представлялся высоким, очень высоким, в черном костюме; он вырастал из снега, будто лавина в обратной съемке. Он весь обледенел, у него было синее лицо, красные глаза, лохматая голова и длинные, острые, похожие на сосульки зубы. Страшно, невероятно, зато кончатся мои бесконечные мучения. Он утащит меня, и меня больше не найдут. И даже моя мать пожалеет. Однажды я ждала его по-настоящему, считая про себя: появится после ста, появится после двухсот – так долго, что на полчаса опоздала к ужину. Мать была в ярости.

– Чем ты занималась? – крикнула она.

– Играла, – ответила я и была названа легкомысленной эгоисткой.

Потом наконец снег превратился в слякоть, в воду, ручьями сбегавшую по склонам с

обеих сторон тропинки, а сама тропинка – в чавкающую грязь. Мост был мокрый и пах гнилью; ветви ив пожелтели; появились прыгалки. Мы стали возвращаться засветло. И вот однажды, когда Элизабет решила не убежать, а лишь обсуждала с подругами подобную возможность, перед нами появился настоящий нехороший мужчина.

Он стоял по другую сторону моста, чуть сбоку, и держал перед собой букет нарциссов. Мужчина был приятной наружности, не молодой, не старый, ничуть не оборванный, приличный, в хорошем твидовом пальто, без шляпы. Волосы цвета ириски начинали редеть, и высокий лоб блестел на солнце. Я шла впереди согласно приказу (им нравилось присматривать за мной сзади). Девочки слишком увлеклись обсуждением своих коварных планов, поэтому я увидела его первой. Он улыбнулся мне, я улыбнулась в ответ, он поднял букет, и я увидела расстегнутую ширинку и свисающий оттуда вялый, ничем не примечательный кусок плоти.

– Смотрите, – сказала я остальным, так, словно собиралась показать нечто интересное. Они посмотрели – и сразу заверещали и понеслись вверх по склону. Я, потрясенная – их поведением, не мужчиной, – застыла на месте.

На лице мужчины отразился легкий ужас. Милая улыбка угасла; он отвернулся, запахнул пальто и быстро пошел по мосту обратно. Затем вернулся, отвесил мне легкий поклон и протянул нарциссы.

Девочки, испуганно сбившись в кучку, ждали меня на улице, на безопасном расстоянии.

– Что он сказал? Что сделал? – затараторили они.

– Ты что, не знала, что это плохой дядька? Ну ты и храбрая, – неохотно похвалила Элизабет. В кои-то веки мне удалось произвести впечатление, хотя я не совсем понимала, чем; мужчина был совсем не страшный, он же улыбался. Нарциссы мне тоже понравились, правда, перед домом их пришлось выкинуть в канаву. Мне хватило ума понять, что я не смогу объяснить матери, откуда они взялись, и при этом не рассердить ее.

В следующий раз после занятия девочки были со мной необычайно милы. Казалось, испытания позади и со мной наконец станут дружить. Похоже, мои надежды сбывались, поскольку Элизабет вдруг спросила:

– Хочешь вступить в наш клуб? Ты же знаешь, что у нас есть клуб?

Я впервые об этом слышала, но в школе клубы были явлением популярным, и, разумеется, мне захотелось в него вступить.

– Тогда ты должна пройти церемонию, – сказала Марлена. – Это несложно.

О церемониях мы знали всё – у скаутов их было предостаточно. Думаю, то, что последовало, девочки частично позаимствовали из традиционного ритуала посвящения. Там тебя вели по картонным камням – мощению воображаемой дорожки – с надписями «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ», «ПОСЛУШАНИЕ», «ДОБРЫЕ ДЕЛА», «УЛЫБКИ». Потом надо было закрыть глаза и ждать, пока тебя три раза повернут вокруг своей оси, под пение группы:

Покрутите, покружите,
И, дыханье затая,
Вы мне эльфа покажите.
Кто в воде? Да это...

Тут полагалось открыть глаза, посмотреть в заколдованное озеро – ручное зеркальце, обставленное пластиковыми цветами и керамическими зайчиками, и сказать: «Я». Волшебное слово.

Поэтому, когда Элизабет сказала: «Закрой глаза», я их послушно закрыла. Марлена и Линн взяли меня за руки, и я почувствовала, как на глазах затягивается повязка. Потом меня повели вниз, предупреждая, где ямка, а где камень, чтобы я не оступилась. Затем я почувствовала под ногами мост. Меня повернули несколько раз в одну сторону, потом в другую, и я перестала понимать, где что. Стало страшно.

– Не хочу в клуб, – сказала я, но Элизабет спокойно ответила:

– Хочешь, хочешь, тебе понравится, – и меня повели дальше. – Встань здесь, – велела Элизабет, и я спиной ощутила что-то твердое. – Опустит руки по швам. – Что-то обвило мои руки, тело и стало затягиваться. – А теперь, – все так же мирно сообщила Элизабет, – мы оставляем тебя плохому дядьке.

Обе ее подружки не могли удержаться от смеха; было слышно, как они убегают, отчаянно хихикая. Стало понятно, где я нахожусь: там, где мы встретили мужчину в прошлый раз. Меня привязали прыгалками Элизабет к столбу у моста. Я захныкала.

Но вскоре притихла. Скорее всего, они за мной следят. Хотят узнать, что я буду делать. А ничего, для разнообразия. Все же незаметно я пошевелила руками: можно ли выпутаться? Веревка была стянута очень туго. Оставалось ждать, пока им надоест, и они вернутся и развяжут меня. Насовсем меня здесь не оставят: это было бы уже слишком. Если я не вернусь, моя мать позвонит их матерям, и тогда им достанется по первое число.

Вначале я еще слышала наверху, в отдалении, их смешки, а один раз мне крикнули:

– Ну как, нравится в клубе?

Я не ответила – вдруг поняла, что они мне ужасно надоели. Прошло какое-то время. Вокруг не было слышно ничего, кроме пения птиц в овраге; затем начало холодать. Видимо, они хотели вернуться, а потом забыли...

Хлюпая носом, я в отчаянии теребила веревки и пыталась соединить руки, чтобы стащить петлю. Вдруг на мосту послышались шаги. Я застыла: может, это кто-нибудь плохой и со мной наконец все-таки случится нечто ужасное? Хотя, конечно, я вряд ли могла разбудить сексуальный аппетит: толстая, сопливая восьмилетка в скаутской форме. Но тут мужской голос произнес:

– Это еще что такое? – И повязка упала с моих глаз (оказалось – скаутский галстук Марлены).

Мужчина был не молодой, не старый, в твидовом пальто, шляпе и с газетой под мышкой. Он улыбнулся. Из-за шляпы я никак не могла понять, его ли видела неделю назад. Ведь я в основном смотрела на лоб с залысинами и нарциссы. К тому же сегодняшний мужчина в отличие от тогдашнего курил трубку.

– Что, попала в переплет, да? – проговорил он. Я с сомнением уставилась на него вспухшими глазами. Он опустился на колени и развязал веревки. – Хорошие узлы, – сказал он и спросил, где я живу. Я ответила. – Я тебя отведу, – предложил он. Я сказала, что знаю дорогу и дойду сама, но он возразил: темнеет, маленьким девочкам не стоит разгуливать одним по темноте. Потом взял меня за руку, и мы пошли.

Внезапно перед нами появилась моя мать. Она летела навстречу с растрепанными волосами, без перчаток. Мать подбежала ближе, и я увидела, что она вне себя от ярости. Я спряталась за твидовую спину мужчины, но она выволокла меня оттуда и вlepила пощечину.

Раньше она так никогда не делала.

– Что за фокусы? – крикнула она. Я молчала – стояла и гневно смотрела на нее, без слез, чем потрясла мать еще сильнее, настолько это было неестественно. В тот момент я твердо решила никогда больше не плакать на людях, хотя, разумеется, из этого ничего не вышло.

Но тут вмешался мужчина в пальто. Он объяснил, что нашел меня на мосту, связанной, освободил и предложил отвести домой. Мать, как принято у взрослых, сразу рассыпалась в преувеличенно пылких благодарностях. Затем пожала мужчине руку и увела меня. Из дома она в праведном гневе позвонила другим матерям, и со скаутами было покончено. Жаль; мне там действительно нравилось. Я еще не встречала женщины приятнее Коричневой Совы – не считая тети Лу, разумеется, – и очень по ней скучала.

Этот случай стал для моей матери очередным примером моей житейской беспомощности и тупоумия.

– Как глупо, что ты позволила этим девочкам так себя провести! – воскликнула она.

– Я думала, они мне подруги, – ответила я.

– Настоящие подруги не стали бы тебя связывать, правда? К тому же – в овраге. Бог знает, что могло случиться. Тебя могли убить. Тебе страшно повезло, что мимо проходил тот милый мужчина и развязал тебя.

– Мама, – серьезно сказала я, горя желанием оправдаться, но не зная, как это лучше сделать. Может, доказав, что она не права? – По-моему, это был нехороший мужчина.

– Чушь! – возмутилась мать. – Такой приятный человек?

– По-моему, это он. Человек с нарциссами.

– Какими еще нарциссами? – не поняла она. – Чем ты там занималась?

– Ничем. – Я поспешно дала задний ход; но поздно; первый червяк вылез из банки, и остальные не заставили себя ждать. Матери мои разговоры очень не понравились, и в добавление к прочему меня обвинили в темных делишках за ее спиной: надо было сразу же все ей рассказать.

А я не была до конца уверена, того человека видела или нет. Кто он, мой спаситель: герой или злодей? Или еще более сложный вопрос: может ли мужчина быть героем и злодеем одновременно?

К этой загадке я возвращалась снова и снова. Я вызывала в памяти человека с нарциссами, но он ускользал, расплывался, менял форму, как теплая ириска или жвачка. Он растворялся в твидовом тумане, шевеля жуткими щупальцами плоти и узловатыми веревками, а потом взрывался веселым солнечным фейерверком желтых цветов.

Один из кошмаров, которые мне снились про мою мать, такой: я иду по мосту, а она стоит на другом конце, в круге солнечного света, и разговаривает с мужчиной, чьего лица я не вижу. Я дохожу до середины, и вдруг мост начинает проваливаться – я всегда боялась, что это случится. Гнилые доски гнутся, ломаются, мост кренится, начинает медленно падать в пропасть... Я бросаюсь бежать – поздно; падаю на живот, хватаюсь за верхний край моста, но он встает вертикально, я вот-вот соскользну вниз... Кричу, зову мать, она еще может меня спасти, еще успеет подбежать, дотянуться, вытащить меня... Но она продолжает беседовать, решительно ничего не замечая; она даже не слышит моих криков.

В другом сне я сижу в уголке ее спальни и смотрю, как она красится. В раннем моем детстве так бывало нередко: и я, и мать считали разрешение присутствовать наградой, привилегией, а запрет – наказанием. Она знала, что меня чарует ее косметика: губная помада, румяна, изящные флакончики, которые я мечтала заполучить, когда кончатся духи, ярко-красный лак (иногда, в виде исключительного подарка, мне чуточку мазали ногти на ногах, но никогда на руках: «Ты еще слишком мала»), маникюрные щипчики и пилочки. Трогать все это категорически запрещалось. И разумеется, когда матери не было дома, я нарушала запрет; но на туалетном столике и в ящиках комода царил настолько строгий порядок, что приходилось соблюдать величайшую осторожность и ставить вещи точно туда, откуда я их взяла. То, что находится не на месте, мать видела зорко, будто сокол. Позднее любовь к косметике переродилась в привычку рыться во всех ее ящиках и шкафах – я досконально изучила, что где лежит; и, в конце концов, делала это уже не из любопытства – я давно все знала, – но ради риска. Поймали меня только дважды, в самом начале. Первый раз я съела помаду (даже тогда, в четыре года, мне хватило сообразительности закрыть тюбик, убрать его в ящик на место и тщательно вымыть рот; как только она догадалась, что это я?), а во второй – не удержалась и выкрасила лицо тенями для глаз: очень хотелось посмотреть на себя синюю. В результате меня на много недель изгнали из рая. А однажды я чуть не выдала себя и свою игру – когда нашла убранный подальше коробочку со странным предметом, похожим на резиновую раковину моллюска. Я умирала от любопытства и сгорала от желания спросить у матери, что это такое, но все-таки не осмелилась.

– Сиди тихо, Джоан, смотри, как мама красится, – говорилось мне в хорошие дни. Мать закрывала шею и грудь полотенцем и начинала колдовать. Иногда я видела, что ей больно; например, когда она наносила на кожу между бровями что-то вроде коричневого клея, предварительно разогретого в маленьком горшочке, а спустя какое-то время резко срывала – и на переносице оставалось красное пятно. В другие дни на лицо наносилась розовая глина, которая постепенно застывала и растрескивалась. Часто, глядя в зеркало, мать хмурилась, недовольно качала головой, а иной раз разговаривала сама с собой, словно забыв о моем присутствии. Видно, эти занятия не приносили ей радости, а, наоборот, огорчали, будто в зеркале или за ним таился неуловимый образ, который никак не удавалось воспроизвести; в конце она неизменно бывала раздражена.

Я же следила за ее действиями, немея от восхищения. Мать казалась мне красавицей, в гриме – прямо-таки неземной. Так и было в моем сне: я сидела и смотрела, как она красится. Постепенно, с ростом зарплаты отца, ее туалетные столики становились все грандиознее, но трюмо имелось изначально – оно давало вид не только спереди, но и с боков. Во сне я

глядела на мать и вдруг понимала, что над укутанными полотенцем плечами вижу не три отражения, а три настоящих головы на трех отдельных шеях. Меня это не пугало, а лишь подтверждало то, о чем я всегда знала; но за дверью стоял мужчина, который вот-вот должен был войти. Если он все увидит, если раскроет секрет моей матери, случится что-то ужасное – не с ней, со мной. Надо закричать, побежать к двери, помешать ему, но я не в силах пошевелиться; дверь начинает медленно открываться внутрь...

Я взрослела, и сон менялся. Я больше не стремилась остановить таинственного незнакомца – наоборот, мне хотелось, чтобы он вошел. Пусть узнает то, что пока было известно лишь мне одной: моя мать – чудовище.

Я всегда звала ее «мама» и никак иначе, никаких «мамочек» и «мамуль». То есть я, должно быть, пыталась, но она это не приветствовала. Наши отношения очень рано стали напоминать производственные: она – менеджер, разработчик, рекламный агент; я – продукт. Думаю, больше всего ей хотелось от меня признательности. Чтобы я преуспевала и все знали, что это – благодаря ей.

Ее планы на мой счет были неопределенными, но великими, поэтому, чего бы я ни достигла, ей всегда было мало. Мать не давила на меня постоянно; случались дни, а то и недели, когда она полностью обо мне забывала, увлекшись какой-то собственной затеей, вроде отделки спальни или устройства званого вечера. Она даже поступала на работу: например, была агентом в бюро путешествий, а еще декоратором – разыскивала лампы и ковры, вписывающиеся в цветовую гамму гостиных. Но это длилось недолго; она теряла интерес, чувствовала, что ей этого мало, и увольнялась.

И дело не в избытке энергии или честолюбия, хотя, безусловно, и то и другое в ней присутствовало. Не исключено, что ей, наоборот, не хватало обоих этих качеств. Если бы она сумела разобраться в себе, понять, что ей нужно, и добиться этого, то, возможно, не воспринимала бы меня как упрек свыше, живой укор, воплощение своих неудач, своей тоски – как гигантский сгусток первичной материи, упорно отказывающийся формироваться в нечто достойное, за что наконец можно будет получить приз.

Образ матери, который я долгие годы таскала с собой и который, подобно железному медальону, оттягивал мне шею, таков: она сидит перед туалетным столиком, красит ногти кроваво-красным лаком и тяжело вздыхает. Губы у нее были тонкие, но она рисовала поверх них помадой пухлый, как у Бетт Дэвис, ротик. Получался странный, двойной рот: из-под нарисованного тенью проглядывал настоящий. Мать была привлекательной женщиной, даже в зрелые годы ей удалось сохранить фигуру, а в юности она пользовалась огромным успехом. Я видела фотографии у нее в альбоме; она в вечерних платьях, купальниках, с разными молодыми людьми: она смотрит в камеру, молодые люди – на нее. Один юноша, в белом фланелевом костюме и при большом автомобиле, попадался чаще других. Мать говорила, что была с ним как бы помолвлена.

При этом ни ее родителей, ни двух братьев и сестры, о которых я узнала только позднее, ни ее самой в детстве в альбоме не было. Она почти ничего не рассказывала о своей семье, о жизни дома; но по обрывочным замечаниям кое-что мне все-таки удалось сложить. Ее родители были очень строги, религиозны и небогаты; отец работал начальником железнодорожной станции. Потом моя мать совершила нечто с их точки зрения ужасное – что именно, я так и не узнала, – и в шестнадцать лет убежала из дома. Работала в разных местах – продавщицей в магазине «Крески», подавальщицей в кафе. В восемнадцать лет нашла место официантки на курорте возле озера Мускока, где позднее встретила с моим

отцом. Молодые люди на фотографиях – отдыхающие с того курорта. Одеваться в вечерние платья и купальники мать могла только по выходным.

Отец на курорте не отдыхал, это было совершенно не в его духе. С матерью он познакомился случайно, когда зашел в гости к приятелю. На нескольких досвадебных снимках, где они вместе, отец выглядит смущенным. Мать держит его за руку так, словно это не рука, а поводок. Дальше – свадебный портрет. Затем – несколько фотографий, где моя мать одна; видимо, это снимал отец. А потом – только я; роняю слюни на ковер, жую плюшевые игрушки, кулачок. Отец ушел на войну, и мать, беременная, осталась одна – фотографировать ее было некому.

Вернулся он, когда мне уже исполнилось пять, а до той поры был только именем, историей, которую рассказывала мать и которая постоянно менялась. Иногда отец был превосходным человеком; скоро он приедет и в нашей жизни произойдет множество прекрасных и удивительных событий: мы переселимся в дом побольше, станем лучше есть и одеваться, а хозяина квартиры раз и навсегда поставим на место. Временами, когда я совершенно отбивалась от рук, отец являл собой возмездие, судный день, воздаяние за все грехи. А в некоторых случаях (причем, думаю, это лучше всего отражало истинные чувства матери) он был бессердечным мерзавцем, бросившим ее одну в трудную минуту. В день его возвращения я так и разрывалась между страхом и надеждой: что он мне привезет, что со мной сделает? Хороший он человек или плохой? (Мать делила мужчин на две категории: хорошие делают что-то для тебя, плохие – с тобой.) Наконец час пробил, и в дверь вошел незнакомец. Поцеловал мать, меня, сел за стол. Он выглядел крайне усталым и очень мало говорил. Он ничего не привез и ничего не сделал, и с тех пор так было всегда.

Чаще всего отец представлял собой одно большое отсутствие. Однако периодически он возникал из своего таинственного небытия, а изредка даже становился причиной умеренно-драматических потрясений. Например: мне тринадцать, год, стало быть, 1955-й, воскресенье; я сижу в маленькой кухоньке и быстро доедаю половину апельсинового слоеного пирога. Меня ждет неминуемая расплата, но часть уже съедена, а ругать что за кусок, что за полпирога будут одинаково, поэтому я интенсивно жую, стремясь поскорее заглотать все, пока не поймали.

К тому времени я ела постоянно, жадно, упорно, непреклонно – все, что попадалось под руку. Между мной и матерью шла война не на жизнь, а на смерть – не объявленная открыто, но постоянно мною ощущавшаяся; спорной территорией было мое тело. Мать оставляла у меня на подушке брошюры о различных диетах; обещала купить, если я похудею, необыкновенные наряды – парадные платья из многослойного тюля с лифом на косточках, задорные маленькие платьица, юбочки с зауженной талией и пышным кринолином; язвила насчет моих размеров; умоляла подумать о здоровье (я умру от инфаркта, у меня будет повышенное давление), водила к специалистам, которые прописывали всевозможные таблетки... Я на все отвечала одинаково – лишним батончиком «Марс», добавкой картошки фри. Я раздувалась на глазах, поднималась как тесто, мое тело неумолимо напоздало на мать вдоль края обеденного стола – в этом, по крайней мере, я оказалась непобедима. Во мне было пять футов четыре дюйма, я еще росла, но весила уже сто восемьдесят два фунта.

Как бы там ни было: воскресенье, 1955 год. Я – на кухне, уминаю апельсиновый пирог. Отец – в гостиной, в кресле, читает детектив; для него это лучший отдых. Мать сидит на честерфилде и притворяется, будто изучает книгу по детской психологии, – она никогда не жалела времени на то, чтобы показать: я, бог свидетель, делаю все, что в моих силах, – но на

самом деле читает в журнале «Фокс» исторический роман о семействе Борджа. Я его уже проглотила, тайком. По обеим сторонам честерфилда лежат крохотные пурпурные атласные подушечки. Они – сакральны, неприкосновенны; перекладывать их ни в коем случае нельзя. Сам диван обит тускло-розовой материей – бугристой с серебряным люрексом – и накрыт прозрачной пленкой, которая снимается только для приема гостей. Ковер, сочетающийся по цвету с подушечками, также защищен пленкой, только более плотной. Абажуры настольных ламп обернуты целлофаном. На ногах у отца – бордовые кожаные шлепанцы. Мы с матерью тоже в тапочках – она уже ввела запрет на хождение дома в любой другой обуви. Дом новый, она совсем недавно закончила отделку; теперь, когда все идеально, ей не хочется, чтобы что-то трогали, она мечтает остановить безупречное мгновение навсегда – до того, как станут ясны ее просчеты, и вокруг опять появятся маляры и грузчики и воцарится хаос.

(Мать не хотела, чтобы ее гостиные чем-то отличались от гостиных других людей, и даже не стремилась сделать их лучше. Комнаты должны были только выглядеть прилично, как у всех, – правда, представление обо «всех» менялось с ростом зарплаты отца. Наверное, именно поэтому наши гостиные напоминали музейные экспозиции, а точнее – витрины «Итона» и «Симпсона», этих волшебных дворцов в центре города, к которым мы с тетей Лу каждый декабрь подходили со стороны бесконечных, терявшихся в перспективе трамвайных путей. Правда, мы ходили смотреть не мебель, а другие витрины, где под звяканье колокольчиков механически вращались разные зверюшки, феи и краснощекие гномы. Когда я доросла до того, чтобы делать рождественские покупки, именно тетя Лу стала водить меня по магазинам. Однажды я объявила, что матери ничего дарить не собираюсь. «Но, моя милая, – сказала тетя Лу, – это будет удар по ее чувствам». Я не верила, что у матери есть чувства, однако сдалась и купила ей пену для ванны в прелестном розовом лебеде. Этой пеной она ни разу не пользовалась, но я заранее знала, что так будет. В конечном итоге пена досталась мне.)

Я доела пирог и встала, толкнув животом стол. Тапочки у меня были большие, мохнатые, ноги в них казались вдвое больше, чем на самом деле. Я хмуро потопала из столовой в гостиную, мимо родителей с их книжками. У меня развилась привычка бесшумно, но чрезвычайно заметно проходить мимо матери; нечто вроде модного дефиле наоборот – я всячески стремилась показать, как мало проку от ее занудства.

Я намеревалась пройти через прихожую, подняться наверх походкой снежного человека, сотрясая перила, закрыться у себя и включить Элвиса Пресли – громко, но не настолько, чтобы мать могла с полным правом велеть мне сделать потише. Она уже начинала бояться, что теряет со мной контакт. А у меня не было никаких коварных планов, я всего лишь повиновалась смутному, вялому инстинкту. И знала только одно: что хочу слушать «Отель разбитых сердец» на той предельной громкости, которая еще не может вызвать нареканий.

Я была на середине комнаты, когда в дверь вдруг забарабанили, явно кулаками. Потом ударили всем телом, и сиплый мужской голос исступленно заорал:

– Я убью тебя! Скотина, я убью тебя!

Я застыла. Отец вскочил с кресла и по-бойцовски пригнулся. Мать заложила книгу закладкой, сняла очки, которые носила на шее на серебряной цепочке, и с раздражением посмотрела на отца. В происходящем, естественно, был виноват он: ведь не она же скотина. Отец выпрямился и прошел к двери.

– А, это вы, мистер Карри, – сказал он. – Рад видеть вас в добром здравии.

– Я подам на вас в суд! – завопили в ответ. – Я вас засужу на всю жизнь! Почему вы не

оставили меня в покое? Вы всё испортили! – Крик прервался судорожным, хриплым плачем.

– Вы сейчас расстроены, – произнес голос отца.

В ответ раздалось рыдания:

– Вы всё испортили! На этот раз я всё сделал правильно, а вы всё испортили! Я не хочу жить...

– Жизнь – великий дар, – отозвался отец, спокойно, достойно, но с легкой укоризной, как добрый дантист, что рассказывал о кариесе по телевизору, который мы купили два года назад. – Его следует принимать с благодарностью и уважением.

– Да что вы понимаете? – взревел собеседник. Послышалось шарканье; голос, оставляя за собой глухое бормотание, вроде струйки пузырьков под водой, замер в отдалении. Отец тихо закрыл дверь и вернулся в гостиную.

– Не знаю, зачем ты это делаешь, – произнесла мать. – Благодарности от них не дождешься.

– Делаешь что? – вытаращив глаза, спросила я; любопытство победило, обет молчания был нарушен. Мне еще не доводилось слышать, чтобы мужчины плакали, и это неожиданное открытие очень меня взбудоражило.

– Когда люди пытаются покончить с собой, – сказала мать, – твой отец их оживляет.

– Увы, далеко не всегда, Фрэнсис, – печально уточнил отец.

– Но достаточно часто, – ответила мать, раскрывая книгу. – И я уже устала оттого, что тебе звонят среди ночи с угрозами. Хорошо бы ты все это прекратил.

Отец работал анестезиологом в городской клинической больнице Торонто. Эту профессию он освоил по настоянию матери: она считала, что специализация – веяние времени; все говорили, что такие врачи зарабатывают больше домашних. Пока он учился, мать с готовностью терпела финансовые лишения. Но я-то была уверена, что отец все-навсего усыпляет людей перед операцией, и ничего не знала о загадочной «воскресительной» стороне его деятельности.

– А почему люди пытаются покончить с собой? – спросила я. – И как ты их оживляешь?

Первую часть вопроса отец проигнорировал – для него это было слишком сложно.

– Я применяю разные экспериментальные методы, – сказал он. – Но не всегда они срабатывают. Правда, мне достаются одни безнадежные случаи – после того, как все остальное уже испробовано. – Помолчав, он продолжил, обращаясь скорее к матери: – Ты удивишься, но большинство мне благодарны. Они рады, что им дали возможность... вернуться. Еще один шанс.

– Что ж, – сказала мать, – вот бы еще недовольные держали свои чувства при себе. Но все равно, по-моему, это пустая трата времени. Они обязательно повторят попытку. Тот, кто настроен серьезно, сует в рот пистолет и спускает курок. Без всяких там шансов.

– Не каждый, – ответил отец, – обладает такой решительностью, как ты.

Два года спустя я узнала об отце кое-что еще. Мы опять переехали в новый дом, с еще более просторной, солидной столовой, обшитой деревянными панелями. Мать пригласила на обед две семейные пары. По ее словам, она их не любила, но не позвать не могла: это коллеги отца, важные люди в клинике, а ему необходимо помочь продвинуться по службе. Отец говорил, что приглашение не имеет ни малейшего отношения к карьере, но мать не обратила на это внимания и все равно позвала их. Позже, осознав правоту отца, она перестала устраивать застолья и начала пить, намного больше, чем прежде. Но и тогда она уже, кажется, пила. Меню того обеда я помню до сих пор: куриные грудки в сливочном соусе

с диким рисом и грибами, заливной салат в отдельных формочках с клюквой и сельдереем под майонезом, картофель «дюшес» и сложный десерт с мандаринами, имбирным соусом и каким-то шербетом.

Я сидела на кухне. Мне было пятнадцать, и я достигла своих максимальных размеров: пять футов восемь дюймов роста и двести сорок пять (плюс-минус) фунтов веса. К гостям меня больше не выпускали; матери надоело, что ее дочь похожа на белуху и открывает рот только затем, чтобы положить туда что-то съедобное. Я мешала ей играть роль элегантной хозяйки дома. Меня, безусловно, радовала всякая возможность досадить матери, но с посторонними людьми дело обстояло иначе: они воспринимали мою необъятность как физический недостаток, вроде горба или косолапости, не видели, что на самом деле это – бунт, ниспровержение, победа. Мое отражение в их глазах лишало меня уверенности. Извращенное удовольствие от своего немислимого веса я извлекала, лишь общаясь с матерью; со всеми прочими, в том числе с отцом, я ужасно страдала. Но остановиться уже не могла.

Вот и в тот раз я была на кухне, подслушивала, уплетала всякие «запчасти» и объедки. В столовой перешли к десерту, я увлеклась остатками куриного салата с клюквой и картофелем «дюшес» и разговор слушала невнимательно, как вялотекущий радиоспектакль. Как стало понятно, один из гостей воевал, главным образом в Италии; второй служил, но дальше Англии не попал. Разумеется, отец тоже участвовал в беседе; он хоть и не отрицал, что был на войне, но высказывался крайне сдержанно. Я не первый раз слышала такие разговоры и очень мало интересовалась ими, зная по фильмам, что на войне женщинам особо делать нечего – не считая того, что они и так делают.

Врач, воевавший в Италии, закончил рассказ о каком-то своем приключении и после общего невнятного мычания спросил:

– А вы где служили, Фил?

– О! М-м-м, – ответил отец.

– Во Франции, – сказала мать.

– А! Вы хотите сказать, после вторжения, – сообразил другой доктор.

– Нет. – Мать хихикнула; это был опасный признак. В последнее время она часто хихикала на своих званых ужинах. Это мутноватое бессмысленное хихиканье пришло на смену высокому, веселому «гостевому» смеху, которым раньше она орудовала умело и точно, как бейсбольной битой.

– О, – вежливо отреагировал врач, служивший в Италии, – что же вы там делали?

– Убивал людей, – тут же ответила мать с видимым удовольствием, словно радуясь шутке, которая понятна ей одной.

– Фрэн, – сказал отец. Он предостерегал, но в то же время умолял; это было ново и неожиданно. Я догрызала грудку, но остановилась и прислушалась.

– На то и война, чтобы убивать, – сказал второй гость.

– Глядя человеку в глаза? – возразила мать. – Вы, готова поспорить, никого не убивали вот так, лицом к лицу.

Повисло молчание. Так обычно бывает, когда вот-вот должно случиться нечто пикантное и, возможно, скандальное. Я представила, как мать обводит взглядом заинтересованные лица, стараясь не встречаться глазами с отцом.

– Фил служил в разведке, – внушительно произнесла она. – Глядя на него, не скажешь, правда? Его забросили за линию фронта, и он работал в подполье, с французами. Он никогда

сам не скажет, но французский ему как родной; у него это из-за фамилии.

– Неужели, – сказала одна из дам, – а мне всегда очень хотелось поехать в Париж. Он и правда настолько красив, как говорят?

– Фил убивал тех, кто, по их мнению, был двойным агентом, – продолжала мать. – Он их выводил и расстреливал. Хладнокровно. Причем иногда не знал, того человека убивает или нет. Потрясающе, правда? – В ее голосе звучали восторг, изумление. – Смешно, ему не нравится, когда я об этом рассказываю... но еще смешнее другое. Как он однажды сказал, самое ужасное, что ему это стало нравиться!

Кто-то из мужчин нервно засмеялся. Я встала, прокралась в своих мохнатых тапочках к лестнице (при необходимости я умела двигаться очень тихо), поднялась до середины и опустилась на ступеньку. Естественно, через минуту запахнулись двери, и на кухню решительным шагом вышел отец, а следом за ним – мать. Она, должно быть, понимала, что перегнула палку.

– А что тут такого? – говорила она. – Это же за правое дело. Ты совсем не умеешь себя подать.

– Я же просил не говорить об этом, – ответил отец. Голос звучал сердито, даже зло. Я впервые поняла, что и его можно разозлить; обычно он бывал на редкость невозмутим. – Ты не представляешь, что там было.

– Думаю, было здорово, – серьезно сказала мать. – Для этого настоящая смелость нужна, и я не понимаю, что здесь плохого...

– Замолчи, – оборвал отец.

Все это было потом; а сначала отца просто не существовало. Может, именно поэтому в моих воспоминаниях он лучше матери? Потом он все время учился, и ему нельзя было мешать, а после много времени проводил в больнице. И никогда не понимал, кто я и что; враждебности, правда, от него не чувствовалось – только недоумение.

Мы очень редко делали что-то вместе, немного, и при этом всегда молчали. Например: отец полюбил комнатные растения – лианы, папоротники, бегонии. Ему нравилось возиться с ними, обрезать, сажать, пересаживать. Это происходило во второй половине дня в субботу, когда у него было свободное время. Одновременно он слушал по радио трансляции «Тексако» из «Метрополитен Опера». Мне разрешалось помогать ему с цветами. Отец был на редкость неразговорчив, поэтому я стала представлять, что доброжелательный, уверенный голос, звучащий в комнате – он рассказывал о костюмах певцов и о страстных, трагических, необыкновенных событиях, которые с ними произойдут, – принадлежит не Милтону Кроссу, а моему отцу. Он попыхивал трубкой, с какого-то момента заменившей сигареты, тыкал совком в горшки и говорил о любовниках, брошенных, преданных, пронзенных кинжалами, о ревности и безумии, о вечной любви, побеждающей смерть. Потом, вызванные его речами, в комнату врывались звенящие, пронзительные голоса, от которых шевелились волосы на затылке. Отец был заклинателем духов, шаманом с сухим, отстраненным голосом оперного комментатора, облаченного во фрак. Так, по крайней мере, звучал этот голос, когда я представляла себе разговоры, которые хотела бы вести со своим отцом, но никогда не вела. Мне хотелось узнать о жизни то, о чем мать никогда не говорила, а он обязан был знать хоть немного, ведь он был врач, он воевал, убивал людей и воскрешал мертвых. Я все ждала от него какого-то совета, предостережения, наставления, но так и не дождалась. Наверно, впервые увидев меня в пять лет, он не воспринимал меня как свою дочь и обращался со мной скорее как с коллегой, сообщницей. Но в чем заключалась наша общая тайна? Почему за все

пять лет он ни разу не приезжал в отпуск? Мать тоже задавалась этим вопросом. Почему они оба вели себя так, будто он ей чем-то обязан?

Позже я подслушивала и другие разговоры. Обычно уходила в ванную наверху, запиралась и включала воду, чтобы они думали, будто я чищу зубы. А сама, придвинув коврик, чтобы не замерзли коленки, опускала голову в унитаз и через трубы слышала, что говорят родители. Это была практически прямая линия на кухню, где они, как правило, скандалили, точнее, скандалила моя мать. Ее было слышно гораздо лучше.

– Может, ты для разнообразия сам попытаешься на нее повлиять, она ведь и твоя дочь? Я уже на пределе.

Отец: молчание.

– Ты не знаешь, каково мне было, воспитывать ребенка одной, пока ты там прохлаждался.

Отец:

– Я не прохлаждался.

Тут же:

– Я ведь ее не так уж и хотела. И замуж за тебя не просилась. Мне просто ничего не оставалось, только делать хорошую мину при плохой игре.

Отец:

– Мне жаль, что ты недовольна тем, как все вышло.

В ответ, очень злобно:

– Ты же врач, не говори, что ничего не мог сделать.

Отец: (тихо и неразборчиво).

– Не говори чепухи, ты убил достаточно людей.

«Святое»! К чертовой матери!

Сначала я была просто шокирована – главным образом потому, что она употребила выражение «к чертовой матери». Она всегда старалась быть леди – перед всеми, даже передо мной. Позднее я пыталась понять, что имелось в виду, и когда она сказала: «Если бы не я, тебя бы здесь не было», – я попросту не поверила.

Мое обжорство было не только вызовом, но и реакцией на страх. Иногда мне начинало казаться, что меня вообще нет, ведь я – случайность; я слышала, как мать назвала меня случайностью. Думаю, мне хотелось обрести твердую форму – твердую, как камень, чтобы от меня нельзя было избавиться. Что я им сделала? Стала ли я ловушкой для своего отца, если он действительно мой отец, испортила ли жизнь матери? Я не осмеливалась спросить.

Какое-то время я мечтала стать оперной певицей. Они хоть и толстые, а все равно носят пышные костюмы, и никто над ними не смеется, наоборот – их любят и хвалят. К несчастью, я не умела петь. Но опера меня привлекала. Как прекрасно стоять на сцене и орать во весь голос про любовь и ненависть, гнев и отчаяние. Вопишь во всю глотку, а получается музыка. Это было бы что-то.

– Иногда мне кажется, что ты совсем дурочка, – говорила порой мать. Когда я плакала по идиотскому, с ее точки зрения, поводу. Она считала слезы явным признаком непроходимой тупости. Слезами горю не поможешь. Поздно плакать над пролитым молоком.

– Мне скучно, – отвечала я. – Не с кем играть. – Играй с куклами, – советовала мать, подводя губы.

Что ж, я играла с ними, нейлоновокудрыми, лишенными мочеполовой системы, пластмассовыми богинями с открытым детским взглядом и гладкими, без сосков, грудками-выступами, которые напоминали коленки и не рождали ненужных мыслей. Я наряжала их для светских раутов, куда они так и не попадали, потом опять раздевала – и смотрела, смотрела, страстно желая их оживить. Они были непорочны, нелюбимы, обречены на одиночество: кукол-мальчиков в те времена не выпускали. Мои красавицы танцевали друг с другом или стояли у стенки в глубокой кататонии.

В девять лет я заговорила о собаке – прекрасно зная, что ее не купят, но рассчитывая получить хотя бы котенка; у знакомой девочки в школе кошка принесла целых шесть котят, причем один был семипалый. Именно о нем я и мечтала. То есть на самом-то деле я мечтала о маленькой сестричке, но это было совершенно исключено, и даже я это понимала; слышала, как мать говорила кому-то по телефону, что и одного ребенка более чем достаточно. (Почему ей было так плохо? Почему я никогда не могла ее порадовать?)

– Кто будет его кормить? – спросила мать. – Трижды в день?

– Я, – ответила я.

– Ты не сможешь, – сказала мать, – ты ведь не приходишь домой на ланч. – Действительно, ланч я брала с собой в специальной коробочке.

Котенок царапал бы мебель, и его требовалось приучать к ящику. Я стала просить черепашку; казалось бы, что плохого в черепахе, но мать сказала, что от нее будет запах.

– Нет, не будет, – возразила я, – у нас в школе есть черепаха, от нее совершенно не пахнет.

– Они теряются за шкафами, – сказала мать, – и умирают от голода.

Она не желала слышать ни о морской свинке, ни о хомячке, ни даже о птичке. После года неудач я загнала ее в угол – попросила рыбку. Они не шумят, не пахнут, не имеют паразитов и всегда чистые; ведь рыбы, в конце концов, живут в воде. Я хотела аквариум с цветными камушками и миниатюрным замком.

Не придумав поводов для отказа, мать сдалась, и я купила в магазине «Крески» золотую рыбку.

– Она только погибнет, и больше ничего, – предостерегла мать. – Эти дешевые рыбки вечно чем-то болеют.

Когда рыбка прожила у меня неделю, мать снизошла до того, чтобы спросить, как ее зовут. Я сидела и, прижимая глаз к стеклу, неотрывно глядела на рыбку. Та плавала вверх-вниз, отрывивая кусочки пищи.

– Сьюзен Хэйуорд, – ответила я. Совсем недавно мы с тетей Лу посмотрели «С песней в моем сердце» – фильм, где Сьюзен Хэйуорд поднимается с инвалидного кресла. У моей рыбки было мало шансов, и мне захотелось дать ей отважное имя. Но та все равно умерла; мать сказала, что я сама виновата – перекормила. Она спустила покойницу в унитаз, не дав

мне оплакать ее и похоронить как положено. Я попросила новую рыбку, но мать сказала, что из произошедшего мне следовало бы извлечь урок. Всякое событие непременно должно было служить мне уроком.

Мать считала, что кино вульгарно, хотя, подозреваю, в свое время часто туда ходила; иначе откуда бы ей знать про Джоан Кроуфорд? Но на Сьюзен Хэйуорд меня водила тетя Лу.

– Ну, видишь? – сказала она после просмотра. – Рыжие волосы – это очень шикарно.

Тетя Лу была высокая, грузная, фигура – как на рекламе корсетов для зрелых женщин в каталоге «Итона», но ее это ни капельки не смущало. Она сворачивала седеющие желтоватые волосы в большой пучок на макушке, водружала сверху какую-нибудь невероятную шляпу с перьями и бантиками, прикрепляла ее жемчужной заколкой, надевала костюм из тяжелого твида, объемистую шубу – и казалась еще выше и толще, чем на самом деле. Одно из самых ранних моих воспоминаний: я сижу на ее широких, обтянутых шерстяной тканью коленях – эти колени были единственными, на которых я когда-либо сидела, причем мать всегда говорила: «Слезай, Джоан, не приставай к тете Луизе», – и глажу лисицу, висящую у нее на шее. Лиса была настоящая, коричневая и еще не такая шелудивая, какой стала позже, с хвостом и четырьмя лапками, с черными глазами-бусинами и прохладным пластмассовым носом; под ним, вместо нижней челюсти, имелась застежка, которая придерживала хвост. Тетя Лу, открывая и закрывая застежку, «разговаривала» за лису. Хитрое животное открывало всяческие секреты, например, где спрятаны леденцы, которые тетя Лу принесла мне в подарок, и задавало важные вопросы: скажем, что я хочу получить на Рождество. Когда я стала постарше, игра прекратилась, но лиса по-прежнему хранилась в шкафу, несмотря на то что вышла из моды.

В кино мы ходили очень часто. Тетя Лу обожала кино – особенно такое, где можно поплакать; без этого картина не могла считаться хорошей. У нее был свой рейтинг: фильм на два, три или четыре «Клинекса» – вроде звездочек в ресторанном гиде. Я тоже плакала, и эти праздники легитимных рыданий – самые счастливые мгновения моего детства.

Прежде всего восхищало, что я иду наперекор воли матери; хотя она сама меня отпускала, чувствовалось, что ей это не по душе. Затем мы ехали в кинотеатр на трамвае или на автобусе. Потом запасались в фойе бумажными носовыми платками, попкорном, конфетами и несколько часов сидели в приятной, мшистой темноте, набивая рты, хлюпая носами и глядя на большой экран, а перед нашими глазами, красиво страдая, проплывали величавые героини.

Я прошла все испытания вместе с милой, безропотной Джун Эллисон, вынужденной пережить смерть Гленна Миллера; съела три коробки попкорна за то время, что Джуди Гарланд мучилась с мужем-алкоголиком, и пять шоколадок «Марс», пока Элинон Паркер в «Прерванной мелодии» – где оперная певица становится калекой – мужественно брела по своему тернистому пути. Но больше всего мне нравились «Красные башмачки» с Мойрой Ширер – про балерину, которая разрывается между мужем и карьерой. Я ее боготворила: не только за рыжие волосы и восхитительные туфельки красного атласа, но и за очень-очень красивые костюмы; к тому же она страдала больше других. И чем мучительней были ее терзания, тем интенсивнее я работала челюстями – мне тоже хотелось всего этого: и танцевать, и быть замужем за красавцем-дирижером, всего сразу. А когда бедняжка бросалась под поезд, я так оглушительно всхрюкивала, что на меня возмущенно оборачивались даже те, кто сидел на три ряда впереди. На этот фильм тетя Лу водила меня четыре раза.

Я посмотрела не один фильм «для взрослых» намного раньше, чем стала взрослой, – моим возрастом никто не интересовался. К тому времени я была уже очень увесистой, а все толстые женщины выглядят одинаково – на сорок два. К тому же они заметны не больше худых, а наоборот – на толстых неприятно смотреть, и от них отводят глаза. Думаю, кассиры и капельдинеры воспринимали меня как огромное, лишенное всяких черт, бесформенное пятно. Реши я ограбить банк, ни один свидетель не смог бы меня как следует описать.

Из кинотеатра мы выходили с красными глазами – наши плечи все еще тяжело вздымались – и очень довольные. Мы шли выпить содовой или домой к тете Лу перекусить – горячими сэндвичами с крабовым мясом и майонезом, холодным куриным салатом. У нее было много такой еды в холодильнике и жестяных банках на буфетных полках. Она жила в старом доме с просторными комнатами, отделанными темным деревом. Мебель тоже была темная, солидная, часто – пыльная, и вечно заваленная чем попало: на диване – газеты, на полу – вязанные шали, под стульями – чулки, туфли, в раковине – грязные тарелки. Для меня этот беспорядок означал свободу, разрешение делать все, что душе угодно. Я старалась имитировать его в своей комнате и закидывала одеждой, книжками и конфетными обертками все поверхности, кропотливо продуманные и созданные моей матерью: туалетный столик под оборчатой скатертью из муслина с узором в виде веточек, такое же покрывало на кровати, ковер, гармонирующий с обстановкой. Пожалуй, это был мой единственный опыт оформления интерьеров, и, к сожалению, рано или поздно все приходилось убирать.

После еды тетя Лу наливала себе стаканчик, скидывала туфли, усаживалась в разлапистое кресло и скрипучим голосом начинала расспрашивать меня о жизни. Она искренне всем интересовалась и даже не смеялась, когда я говорила, что хочу стать оперной певицей.

Моя мать в душе презирала тетю Лу и считала ее, безмужнюю, неполноценной, несчастной женщиной. Если и так, то тетя Лу очень хорошо это скрывала. Мне она казалась куда менее несчастной и разочарованной, чем моя мать, которая к тому времени, заполучив и отделав свой последний дом, полностью сосредоточилась на том, чтобы как-то меня уменьшить. Она испробовала поистине все. И когда я наотрез отказалась принимать лекарства и придерживаться диет – тщательно ею разработанных, с меню на каждый день и подсчетом калорий, – отправила меня к психиатру.

– Мне нравится быть толстой, – сказала я доктору и разразилась слезами. Тот сидел, сведя кончики пальцев, и, пока я отдувалась и всхлипывала, улыбался – благожелательно, но с легким отвращением.

– Разве тебе не хочется выйти замуж? – спросил он, стоило мне затихнуть. От этого вопроса я завелась по новой, однако при следующей встрече с тетей Лу сразу спросила:

– Разве тебе не хотелось замуж?

Тетя Лу – она восседала в пухлом кресле и пила мартини – ответила характерным хриплым смешком.

– О, деточка, – сказала она, – я ведь была замужем. Неужто я никогда не рассказывала?

Я была уверена, что тетя Лу старая дева: ведь у нее та же фамилия, что и у моего отца, – Делакор. «Французская аристократия, ясное дело», – говорила тетя Лу. Их прадед был фермером; он решил изменить жизнь к лучшему и вложил, по выражению тети, в железную дорогу, с самого ее основания, ради чего продал свою ферму. Так в семье появились деньги.

– Разумеется, все они были мошенники, – протянула тетя Лу, цедя мартини, – просто их так никто не называл.

Как выяснилось, в девятнадцать лет тетя Лу с одобрения семьи вышла замуж за человека на восемь лет себя старше, с хорошим положением в обществе. К сожалению, муж оказался заядлым игроком.

– В один карман влетало, а из другого вылетало, – просипела тетя Лу, – но что я тогда понимала? Я безумно влюбилась, моя дорогая, безумно, он был высокий, темноволосый – красавец! – Я начала понимать, почему ей нравятся фильмы, которые мы смотрим: они очень напоминали ее собственную жизнь. – Чего я только не делала, моя милая, как ни старалась, но все без толку. Он пропадал по несколько дней кряду, а я, между прочим, понятия не имела, как вести дом и распоряжаться деньгами. В жизни продуктов не покупала; считала, что достаточно снять телефонную трубку, и тебе сразу принесут все, что нужно. В первую неделю семейной жизни я заказала по фунту всего: муки, соли, перца, сахара. Думала, именно так и следует поступать. Перца хватило на много лет. – Тетя Лу рассмеялась, как сердитый морж. Она любила посмеяться над собой, только иной раз от собственных шуток у нее перехватывало дыхание. – Он всегда возвращался, и если с проигрышем, то клялся в любви. А когда выигрывал, сетовал на цепи, которыми скован. Все это было очень грустно. А потом настал день, когда он не вернулся. Кто знает, может, его убили за долги? Интересно, жив ли он еще... если да, то я, полагаю, по-прежнему за ним замужем.

Позднее я узнала, что у тети Лу есть сердечный друг по имени Роберт. Он был бухгалтер, с женой и детьми, и к тете Лу приходил по воскресеньям на ужин.

– Не говори матери, детка, хорошо? – попросила тетя Лу. – Я не уверена, что она поймет.

– А тебе не хочется за него замуж? – поинтересовалась я, узнав о Роберте.

– Пуганая ворона куста боится, – ответила тетя Лу. – И потом, я ведь так и не развелась – какой был смысл? Я просто взяла назад девичью фамилию, чтобы не отвечать на дурацкие вопросы. Послушайся моего совета, девочка: не выходи замуж лет как минимум до двадцати пяти.

Тетя Лу несколько не сомневалась: желающие пасть к моим ногам найдутся обязательно; она и мысли не допускала, что никто не предложит мне руки и сердца. По мнению матери, с моей внешностью не на что было и рассчитывать, но тетя Лу считала, что на сложности нужно плевать, а препятствия существуют для того, чтобы их преодолевать. Обезножившие оперные певицы вполне в состоянии добиться всего, чего хотят, главное – не сдаваться. И даже такая громадина, как я, может очень много. Правда, сама я не была так уверена в собственном потенциале.

После неудачного замужества тетя Лу решила найти работу.

– Печатать я не умела, – рассказывала она, – и вообще ничего не умела, при моем-то воспитании; но тогда, детка, была Депрессия, деньги в семье кончились, пришлось как-то выкарабкиваться. Я пошла работать.

Пока я была маленькая, о службе тети Лу говорили очень расплывчато – как мои родители, так и она сама. Упоминали только, что она возглавляет департамент какой-то фирмы. Лишь в тринадцать лет я узнала, чем она в действительности занимается.

– На, – сказала однажды мать, – думаю, тебе пора это почитать. – И сунула мне в руки розовый буклет с красивой цветочной виньеткой на обложке. «Ты растешь» – называлась книжечка. Открывалась она письмом: «Чем старше ты становишься, тем интереснее твоя жизнь. В то же время, с тобой происходит много непонятного. Например менструация...»

Внизу помещалась фотография тети Лу, которая была снята, когда у нее еще не так сильно обвисли щеки. Она улыбалась профессионально-материнской улыбкой; шею обвивала единственная нитка жемчуга. Тетя Лу нередко носила жемчуг в обычной жизни, но всего одну нить – никогда. Под письмом стояла подпись: «Искренне Ваша, Луиза К. Делакор». Я с большим интересом изучила диаграммы в розовом буклете, прочла, как себя вести на теннисном корте и школьном выпускном вечере, как одеваться и чем мыть голову; но больше всего меня потрясли фотография и подпись. Моя тетя Лу была почти как кинозвезда. Она оказалась знаменитостью – в своем роде.

При следующей же встрече я обо всем ее расспросила.

– Я заведую связями с общественностью, моя дорогая, – сказала она. – Только по Канаде. Но тот буклет, в общем-то, не я писала. Это работа рекламного отдела.

– А чем занимаешься ты? – спросила я.

– Ну, – протянула она, – хожу на всевозможные заседания, даю советы по рекламе. А еще отвечаю на письма. Через секретаршу, разумеется.

– Какие письма? – заинтересовалась я.

– О, сама можешь представить, – ответила тетя Лу. – Жалобы на качество продукции, просьбы что-то посоветовать, всякое такое. Казалось бы, писать должны одни только молоденькие девочки – собственно, в основном так и есть. Спрашивают, где у них вагина и тому подобное. Для них у нас специально разработан бланк ответа. Но приходят письма и от тех, кто действительно нуждается в помощи; им я отвечаю лично. Например, кто-то боится идти к врачу или что-то еще и пишет мне. А я в половине случаев даже не знаю, что сказать. – Тетя Лу допила мартини и встала за новой порцией. – Как раз на днях пришло письмо от женщины, которая считает, что беременна от инкуба.

– Инкуба? – удивилась я. По звучанию это напоминало какой-то медицинский прибор. – А что такое инкуб?

– Я смотрела в словаре, – сказала тетя Лу. – Это такой демон.

– Что же ты посоветовала? – с ужасом спросила я. Что, если та женщина права?

– Я посоветовала, – задумчиво проговорила тетя Лу, – купить тест на беременность. Если он положительный, то это не от инкуба. А если отрицательный, то не о чем и беспокоиться, верно?

– Поведение Луизы выходит за всякие рамки, – сказала как-то моя мать, объясняя отцу, почему она не приглашает тетю Лу чаще. – Понятно, что гости интересуются, чем она занимается, но она же вечно лепит все как есть. Я не могу допустить, чтобы у меня за столом употребляли подобные выражения. Знаю, она очень добрая, но ей полностью наплевать, что о ней подумают.

– Подсчитаем плюсы, – со смешком сказала мне тетя Лу. – Они хорошо платят и хорошо ко мне относятся. На что тут жаловаться?

Психиатр после трех сеансов слез и молчанок махнул на меня рукой. Меня обижала его убежденность, что во мне, помимо ожирения, еще что-то не так, а он обижался, что я обижаюсь. Матери он сказал, что это проблема семейная, и, работая только со мной, ее не решить. Мать возмутилась.

– Подумай, какая наглость! – крикнула она отцу. – Он хотел содрать еще денег! Все они шарлатаны, если хочешь знать мое мнение.

После психиатра настала эпоха слабительного. Думаю, мать совсем отчаялась; мой вес стал ее навязчивой идеей. Подобно большинству людей, она мыслила образами и, должно

быть, видела во мне некую гигантскую шпукловину с одним отверстием, трубу, которая все выпускает, но ничего не выпускает; ей казалось, что стоит только найти и вытащить пробку, и я мгновенно сдуюсь, как дирижабль. Она стала покупать разные лекарства и подсовывать их мне под всяческими предложениями – «Это хорошо для цвета лица» – и даже тайно подмешивать в еду, а однажды сделала из слабительного глазурь для шоколадного торта, который оставила в кухне на столе. Я его нашла, съела и чуть не умерла, но хуже не стала.

Это было уже в старших классах. Я не позволила матери отдать меня в частную женскую школу, где носили шотландские юбки и маленькие клетчатые галстучки, поскольку со скаутских времен избегала сугубо женских сообществ, особенно тех, что одеты в форму. Вместо частной школы я пошла в ближайшую местную. Мать считала, что это, конечно, плохо, но могло быть гораздо хуже – мы теперь жили в очень уважаемом районе. Однако семьи так называемого «нашего уровня», которые моя мать считала достойными подражания, отправляли детей в частные школы наподобие той, куда она хотела послать меня. В местную же попадали отбросы – дети из небольших домов по окраинам нашего района, из недавно построенных многоэтажек, к обитателям которых старожилы относились с подозрением, и, того хуже, дети с торговых улиц, из квартир над магазинами. Многие одноклассники пришлось бы не по нраву моей матери, но я ей об этом не рассказывала, поскольку не хотела, чтобы меня обрядили в форму.

[Купить полную версию книги](#)